

К. Н.  
ЛЕОНТЬЕВ

*Сочинения*



Константин Николаевич Леонтьев

## Аспазия Ламприди

«...Один день все было поверили, что разбойникам пришел конец. С эллинской границы дали знать на ближайший военный турецкий пост, что шайка Сала-яни перешла границу и преследуется греческими войсками. Греческий офицер предлагал турецкому захватить шайку в лесу с двух сторон. Турки вступили в лес; офицер турецкий шел впереди и высматривал; разбойники выстрелили и убили его и одного солдата. Воодушевленные гневом, турки ринулись в кусты; разбойники отступили, отстреливаясь; турки все шли вперед, надеясь на поддержку греческого войска, которое должно было быть в тылу у разбойников...»

# Содержание

I	0005
II	0020
III	0031
IV	0040
V	0059
VI	0065
VII	0075
VIII	0087
IX	0094
X	0113
XI	0118
XII	0122
XIII	0138
XIV	0158
XV	0176
XVI	0187
XVII	0199
XVIII	0210
XIX	0238
XX	0246
XXI	0257
XXII	0261
XXIII	0274
XXIV	0281
XXV	0291

**Константин Леонтьев**  
**Аспазия Ламприди**  
*Греческая повесть*

Алкивиад Аспреас был родом из Корфу, но учился в Афинах и там провел последние годы. Ему было не более двадцати пяти лет, когда он задумал посетить Эпир и посмотреть, как живут его братья греки под турецкою властью.

С детства он слышал вокруг себя разговоры о православии, о турецком иге, о просвещенном деспотизме Англии, о ненавистной ионийцам римской пропаганде. Чаще всего слышал он дома о дальней великой холодной стране, где царствует мощный царь, которого боятся другие государи, где весь народ молится так же, как молится его старый отец, где войску и церквам нет числа, и привыкал думать, что лишь бы захотел этот царь, лишь бы тронулось это несметное войско, то и красных мундиров не осталось бы на живописной эспланаде нашего города, не осталось бы и тех свирепых людей, которых дикий берег высится за морем так близко от Корфу, ни даже проповедников в черных мантиях и широких шляпах, с лицами недобрыми и язвитель-

ными, которые жаждут вреда православной церкви.

Недалеко от Корфу, на горе, есть селение Гастури. По прекрасному шоссе коляска мчит к нему чужеземца сквозь нескончаемый лес маслин.

Когда бы кто ни посетил это селение, – во всякий час дня – он увидит у кофейни толпу одних и тех же молодых и старых мужчин, с усами, в соломенных шляпах и голубых шальварах... Они курят или пьют умеренно, или беседуют у порога кофейни...

Одни и те же высокие, полногрудые молодые женщины, осторожно спускаясь по камням, живописно несут кувшины с водой на головах, убранных белым покрывалом и косами, перевитыми красным... Как будто одни и те же старушки работают у дверей своих пустых и бедных каменных жилищ... Те же дети, румяные и веселые, бегут за коляской больше часа и кричат: «Пол-овола, пол-овола, эффенди!» Те же отроковицы подают вам молча маленькие букеты цветов и душистых травок...

Работы этим людям мало.

– Оливковое дерево, государь мой, есть злейший враг индустрии! Оно само кормит лентяя! – говорит ученый грек.

И крестьянин-иониец сознается в том же, только гораздо милее ученого грека.

– Бог и деревья неравными сделал, – говорит он. – Есть деревья глупые, и есть хитрые деревья. Маслина, синьор мой, дерево глупое. Посадил его хоть бы дед мой, и никто у нас больше не смотрит за ним. Сделай раз на склоне горы около него небольшие грядки, чтобы маслинки, когда будут падать, не укатывались далеко – и сядь. Глупое дерево, без всякой работы, само тебе все дает. Иное дело виноград; это дерево лукавое и умное; убивайся над ним каждый год и убивайся много, иначе и не жди от него плода. И еще иной нрав у апельсинного дерева. Работы оно много не ищет; оно хочет любви и ласки. Любишь ты его, синьор, и оно тебя любит. Ласкай его, смотри за ним, полей, когда нужно, береги его, и оно тебе даст доход... Не люби, и дохода не даст, не полюбит тебя!

Около этой живописной деревни Гастури, которую первую изо всех деревень Корфу все-

гда узнает путешественник, был дом и земля старика Аспреаса, отца Алкивиада.

Прежде старик был богаче, но потом несколько обеднел. «Глупое дерево» хоть и не требует ухода, но по глупости же своей иногда даст обильный доход, иногда же подряд много лет почти ничего не дает. Настали неурожайные годы. Иного земледелия на острове почти нет; он весь – сплошная оливковая роща.

Земли своей у крестьян почти нет; они обязаны собирать оливки помещику и за это берут себе половину сбора. Что ж было делать, когда грядки под деревьями уже столько лет стояли пустыми? Потом пришли другие невзгоды; неудачные торговые обороты. Старшая дочь вышла замуж за афинского грека, и ей надо было дать хорошее приданое. Старший сын подрастал – его хотелось, по примеру других архонтов, послать учиться или в Европу, или хоть в Афинский университет. Были и другие дети.

Пробил час прений об избрании Альфреда и о присоединении к Элладе семи островов.

Старик Аспреас ненавидел «красных дья-



волов» хуже чем турок. Не любил их гордость, говорил, что они развращают простой народ тем, что сорят деньгами, приучая даже малых детей бегать за экипажами, когда дома есть кусок хлеба; не признавал заслуг Каннинга, утверждая, что фил-эллином он никогда и не был, а дал Наваринскую битву, чтобы только Россия не одна спасла Грецию и не была в ней потом всемошною; не мог простить англичанам дело жида Пачифико, смерть Каподистрии и севастопольский погром.

Во все время, пока шли на островах прения о том: отказаться ли от протектората? присоединиться ли к Греции или нет? – старик Аспреас трудился, уговаривал, подкупал даже, не жалея средств, подвергался опасностям, лишь бы только не видать больше «красных дьяволов», которые, сверх политических преступлений своих, не верят и в святость мощей Св. Спиридона, покровителя моряков и заступника корфиотского, – Св. Спиридона, которому и турки проезжие поклоняются и дают дары.

Дело кончилось так, как этого желал старик: «красные мундиры» ушли. Но после их

ухода он стал еще беднее. Расходы во время подачи голосов были велики. Демократическая Эллада дала больше прав и больше независимости крестьянам, живущим на помещичьей земле. Доходы стали еще меньше; торговля острова упала; дороги начали портиться.

Старик вздыхал, но не роптал.

– Пусть только «Господи помилуй» (так звал он Россию) будет крепок; все поправится. Пусть только вагабонда-Наполеона прогонят, да варвара Агу спровадят туда, откуда принес его сатана за наши грехи... тогда и торговля будет, и порядок, и мир, и согласие, и все хорошее на земле.

– Да что же вам за дело до русских? Русские далеко, – спрашивали его люди.

– Греко-российской церкви мы поклоняемся, ты знаешь это, человече! – отвечал старик.

У такого отца вырос в доме Алкивиад. Старик, как и все пожилые люди в Корфу, какого бы они ни были звания, был страшный руссофил.

Таких людей много на семи островах. И многие молодые люди делят их убеждения.

Долгое занятие островов русскими войсками оставило там прекрасное воспоминание. Имена Ушакова и других генералов русских живут в памяти людей и до сих пор. Одна из улиц, выходящих на Красную площадь Корфу, зовется «одос Ушаков» – улицей Ушакова.

До прибытия русских в Корфу не было православного епископа. Русские учредили епископскую кафедру в Корфу. В первый раз в конце прошлого столетия корфиоты ясно почувствовали, с прибытием русских, что они точно греки, а не венецианцы. Они увидели, как гордые русские начальники чтит православную церковь и как смиренно молились в ней страшные русские солдаты.

Самые солдаты эти были страшны только на первый вид. Они были добрые и простые люди. Звали греков «брат»; любили выпить и песню спеть; боялись и слушались начальства...

Случалось, что русские и наказывали корфиотов телесно, но «они и своих за беспорядки наказывали еще строже», – говорят корфиоты.

Живут и теперь в городе Корфу два стари-

ка, один бедный, а другой богатый. Богатому уже под девяносто лет; бедный гораздо моложе. Богатый не знатен, он разжился торговлей; бедный из старой семьи.

Богатый скуп до того, что его раз нашли полумертвым от голода на кровати. Слуг он не держит, дверь была заперта, и доктора, чтобы спасти его, взошли в окошко по лестнице; с тех пор он стал есть побольше.

Он ходит всегда не шевеля руками и оставляет их подальше от тела, потому что портной раз сказал ему, что рукава под мышками дольше не рвутся у тех, кто так ходит. Никто не слышал и не видал никогда, чтоб этот человек заплатил в кофейне за чашку кофе или за стакан лимонада. Однажды он упал на улице в обморок от слабости (а может быть, и от голода); сбежались на помощь люди; старик казался почти бездыханным. Кто-то закричал из толпы:

– Отвезти его в наемной коляске домой. Старик встрепенулся.

– Дойду пешком, – прошептал он, – помогите мне немного. Зачем платить за коляску.

У него нет ни привязанностей, ни стра-

стей. О родных, которые далеко, он не думает. Проценты с капитала своего навеки он хочет завещать бедным за упокой своей души... Но у него есть одна страсть, одна святыня – Россия.

Поутру и вечером, вставая и ложась, он прежде молится за свою душу, а потом за Россию. Он бледнеет и шипит как змея, когда слышит порицания русским или России. Когда бы он не был чуть жив от слабости, он бил бы «негодяев», которые смеют осквернять даже в шутку эту святыню...

– А Эллада? – говорят ему.

– Дьявол ее возьми! – шипит злобно старик. Другой старик гораздо моложе. Он бедно одет, но бодр, страстен и подвижен. Его вы встретите везде: и в церкви, и в кофейне, и на прогулках; он следит за политикой, за газетами, спорит громко на улицах; шумит и бранится!..

Одно воспоминание о Западной Европе возбуждает его гнев... Молодые люди, даже мальчишки простые на улицах знают его страсть к России и затрогивают его.

– Чорт бы побрал Россию! – шепчет ему

мальчишка... и бежит далеко. Иначе им было бы плохо. Случалось, что он бросался и на взрослых людей в кофейнях за подобные слова, которых он даже и в шутку не сносит...

Но, быть может, только эти два чудака без веса и силы думают так? Едва ли! Вот идет, обнажив саблю перед ротой, под звуки музыки, лихой и солидный офицер с русой эспаньолкой. За ротой спешит народ, идут и хорошо одетые люди, и не нарадуются на своих солдат! Впереди, перед музыкантами, маршируют в такт оборванные мальчишки, свищут, вторят маршу, и один за другим от радости катаются колесом перед войском... Что думает этот бравый офицер с обнаженной саблей? Он читает по вечерам предсказания «Агафангела»[1] о «новом государе французском, который ведет на бойню безумных французов»... «И ты, хитрая лисица (Англия), потеряешь свой хвост!» – говорит «Агафангел». «И царству агарян будет конец, когда белокурое племя вступит в Царьград и отыщет для христиан нового царя Иоанна, который спит теперь за невидимую дверь в Святой Софии...»

Старый граф Ионийский, у которого такое

прекрасное имение с садом и цветами на берегу моря и который часто гуляет до полуночи в тени аллеи по эспланаде, «Агафангела» не читает; он верит в Англию; но верит он в нее не иначе, как в соглашении с русскими.

Эти молодые щеголи, которые шумят по кофейням, с небрежностью крестясь, входят лишь на минуту в церковь Святого Спиридона и возмущают своим видом набожных людей; о чем они думают? Они думают больше всего о любовницах своих, конечно, и о том, будет ли зимой в Корфу итальянская опера, но они приветствуют криками радости, бьют в ладоши на улице при каждой новой вести о поражении французов. Отчего они рады победам пруссаков? Какое добро сделали им Бисмарк и Германия? Не Бисмарк и не Германия радуют их... Радует их иное. Ошибочно или нет, но они видят вдали за германскими триумфами иную тень: грозную тень Восточного вопроса! Их радует, что люди простые шепчут друг другу: «Разница между Пруссия и Россия одна буква П. Наша Ольга племянница русскому государю и внучка государю прусскому. Нам только это и нужно».

Поэтому о прусских бомбах кричит и остряк-продавец холодной ключевой воды, который душным вечером возит по площади между гуляющими свою тележку, разубранную зеленью.

– Вот они, прусские бомбы, послушайте, как летят, – кричит он, чтобы в темноте люди поняли, что тележка с ключевой водой недалеко.

Похолодело время, он бросил воду и поставил раек на площади.

– Идите, смотрите, – кричит он, – как французы бегут из России в тысяча восемьсот двенадцатом году!

Вот идет видный, пожилой мужчина, одетый со вкусом; он богат, он не раз был министром. Он враг России, говорят... Пусть проходит он мимо! Все зовут его жидом и никто его не уважает.

Дороже его стократ эти бедные мальчишки, которые катаются колесом перед военной музыкой, когда она идет утром в королевский дворец. И в их сердцах зарождаются семена будущих чувств, и они уже знают по опыту, как выгодно продавать на площади те теле-



граммы, в которых есть новые слухи о русской политике на Востоке... Они видят, что ту телеграмму, в которой более печаталось о России и Греции, разослали хозяева не на простой бумаге, а с изображением богини Афины в заглавии. Нет нужды, что мальчишки эти не знают, кто была Афина. Они видят и понимают в ней молодого воина в шлеме, готового к битве. Отец Алкивиада не подвергался шуткам, как подвергаются иногда те два старика руссофилы; вес его в городе был велик; одна англичанка путешественница, которую он повел смотреть город, удивлялась: сколько люди кланяются ему и скольким он должен ответить.

– Вам нужно шесть шляп каждый год. У вас поля шляпы, я думаю, рвутся, – сказала она ему.

Голос его был во всех делах одним из первых, и на всех официальных празднествах, на всех церковных процессиях, на всех дипломатических обедах старик Аспреас являлся одним из главных представителей города.

Седой, спокойный, здоровый, с веселым и добрым лицом, с седыми усами, в хорошем

чорном фраке, с кавалерским крестом Спасителя и тем медным геройским крестом, который раздавался по окончании войны за независимость Греции тем, кто принимал в ней участие, старик Аспреас внушал всем уважение, и самая речь его, простая, тихая, даже однообразная, в которой светился сквозь все один и тот же стих, один и тот же припев: «Греко-российской церкви мы поклоняемся», приятно действовали и на тех, кто не был глубоко убежден, как он.

Восемнадцать лет Алкивиад простился с отцом и уехал учиться в Афины... Чрез год он вернулся на лето к отцу уже иным...

Сперва он стал англоман, а потом туркофил какого-то особого рода...

Отец слушал его сначала с удивлением, потом с гневом, потом уже снисходительно и с пренебрежением.

– Молодость и глупость: пройдет молодость, пройдет с нею и глупость, – говорил почтенный человек, и так был спокоен и светел, так радостно глядел в глаза собеседнику, что и тому казалось на миг «все это вздором», казалось, что вся политическая мудрость, вся

дальновидность, вся история борьбы Востока и Европы заключаются в одном простом слове старого архонта: «Греко-российской церкви мы поклоняемся, человече!»

Алкивиад любил отца, чтит его как благородного патриота и никогда не спорил с ним грубо. Но так же, как отец весело улыбался говоря о сыне, так и сын улыбался говоря об отце.

– Бедный отец! – восклицал он с чувством любви и уважения. – Бедный отец! Он еще все от России ждет чего-то... Времена Ушакова еще не миновали для него. Бедный отец!

Сестра Алкивиада, которая была замужем за Сафинским греком и жила всегда в Афинах, была женщина умная, ученая и красивая, хорошая мать и честная супруга. Ее упрекали лишь в трех недостатках: в том, что брови ее были уже слишком густы и мужественны; в том, что она была очень честолюбива и за себя, и за мужа, и за брата, и за всех близких ей; а иные еще в том, что она любила писать и говорить иногда уже слишком высокопарно, без нужды.

Но в этом последнем упрекали ее очень немногие. Нынешние образованные греки более похожи на риторов времен падения древнего мира и на византийцев, чем на эллинов времен Платона и Софокла.

Мать Алкивиада умерла, едва родив его, и первые заботы о младенце выпали на долю сестры, которая тогда уже была взрослою девушкой. Поэтому брат сохранил к ней сыновнее чувство, которое и впоследствии поддерживалось ее умственным влиянием на него и тем увлечением, которое внушал брату ее

патриотизм и образованность. Он гордился сестрой пред другими. Еще при королеве Амалии она ездила ко двору, и хотя уже и тогда ей было лет тридцать, однако и муж и брат гордились ею, когда она в торжественных случаях выходила пред людьми с длинным шлейфом, со своими строгими бровями, римским носом, в маленькой феске набекрень и в бархатной греческой куртке, расшитой золотом, одетая так, как одевалась сама королева.

«Богиня, – шептали люди, – Афина Паллада! Нет, не Паллада; это Бобелина!» И Алкивиад слышал этот шопот и радовался и еще больше слушался сестры.

Она отсоветовала ему учиться медицине. «Что за поприще для тебя, мой друг, быть врачом? – говорила она ему. – Поприще без простора, без повышений. Посвяти себя политическому поприщу. В свободной стране, подобно нашей Элладе, на какую высоту, скажи мне, не открыт блестящий путь государственному мужу?»

Алкивиад занялся законодательством и бросил медицину.

Сестра нанесла первый удар его прежним

детским убеждениям.

– Что общего, – говорила она, – между русским кнутом и благородною эллинскою нацией? между деспотизмом и свободой? между скифским северным мраком и грацией Юга? Эллины призваны во имя свободы, во имя всего священного положить пределы распространению славянского великана на Юг и Восток. Эллины призваны рабить глиняные ноги этого мрачного кумира, которому поклонялось до сих пор наше невежество... Эллин и только эллин, никто другой, должен рассеять по Востоку лучший цвет европейского просвещения.

Муж сестры Алкивиада мало имел влияния на молодого человека. Он был толстый, здоровый, довольно богатый и лукавый проstack. Любил жену, любил детей, любил попить. Был не лишен трудолюбия, опытности в делах и здравого смысла. Увлечь, обмануть его никто не мог; но и он зато не в силах был никого увлечь. Мнений он определенных не имел; соображался с обстоятельствами и очень удачно, благо даря правилу: «спеши медлительно!» Занимал в течение жизни сво-

ей много разных должностей, избегая крушения нередко там, где не спасали ни даровитость, ни патриотизм, ни красноречие, ни смелость, ни связи.

Восхваляя при случае (и как нельзя солиднее и спокойнее) эллинскую свободу, конституцию и равенство и всю прелесть политических прений и борьбы, он обеспечил себя и семью свою исподволь капиталом в деспотической России и варварской Турции, подальше от конституции, от равенства и блестящих прений. Жена его в этом была согласна с ним и восклицала: «Все экономические вопросы я предоставляю мужу! Это его часть».

Так жил себе хорошо в Афинах усатый, здоровый толстяк; никого не боялся и, несмотря на то, что ездил ко двору и сносился с посланниками, дома жил просто и умеренно, стараясь показать, что он старинный и простой человек, который ни в ком не нуждается.

«Нашу Палладу надо изображать не с совой, а с медведем!» – говорили остроумцы и звали его «турком», «Агой», до тех пор, пока один молодой человек не прозвал его еще злее по-турецки «Гайдар-эффенди». (Гайдарос

по-гречески значит осел.)

Алкивиад терпеть не мог своего зятя, хотя жил у него в доме; никогда с ним не спорил и занимал иногда по молодости у него деньги. Но у толстого Гайдар-эффенди был двоюродный брат Александр – Астрапидес.

Он был еще молод, хотя и много постарше Алкивиада, и славился красноречием, умом, отвагой и красотой. Астрапидес подружился с Алкивиадом и dokonчил то, что начала сестра. Из руссофила молодой студент постепенно стал пылким приверженцем английской партии.

И точно, Астрапидес был увлекателен и даровит.

Красивая наружность его была такова, что встретить его в горах с глазу на глаз и не зная, кто он, едва ли было приятно и храброму человеку.

Казалось, модный фрак, лакированные сапоги и французские перчатки его были на нем не одеждой, а лишь минутным костюмом необходимости, и, когда он взглядывал своим взглядом и блестящим, и любезным, по нужде и свирепым, когда его недобрая душа проси-



лась наружу, казалось, что спадут с него сейчас и модный фрак, и перчатки, и шляпа... и вместо оратора и светского человека предстанет пред смущенным собеседником неукротимый и алчный горец в фустанелле, забрызганной кровью... и положит руку на золотой пояс, за которым уже сверкает ятаган.

И борода у Астрапидеса была густая, черная, и походка отважная, и голос громкий, и рост высокий. Алкивиада он любил, однако, искренно, и при встречах с ним и взгляд его становился благодуще, и голос ласковее, и шутки его с Алкивиадом были шутки брата, а не коварного приятеля.

Астрапидес перепробовал с ранних лет свои силы на разных поприщах. Был военным, был депутатом, издавал два раза журнал, статьи писал всегда, и писал прекрасно, сильно и без всяких украшений риторства. Впав в одно время в нужду, вследствие того, что в течение двух, трех месяцев пало, одно за другим, до пяти министерств, он не побрезгал торговать макаронами и канатами.

Он принимал участие в движении против короля Отгона тогда, когда еще такое участие

было очень опасно, когда еще не знал никто, что это рискованная игра кончится так легко и просто...

Астрапидес в последнее время стал приверженцем Англии и в статьях своих, и в самых секретных разговорах своих с друзьями.

В последнее время, после неудачных исходов критского восстания, он понемногу стал прибавлять к англomanии и свою новую мысль о сближении Эллады с Турцией, для совокупного действия против «всесокрушающего потока панславизма». Вся прошедшая история новой Греции была для него заблуждением и несчастьем. Он оправдывал Мавромихали в убийстве Каподистрии, порицал охотников-греков, которые сражались за русских в Крыму; проклинал Россию за ее непрошенную дружбу и услуги, которые заслужили в Греции название русской батареи, направленной против Турции и Европы.

Он находил возражение на все. Естественные сочувствия корфиотов высшего круга к России он приписывал их аристократическим привычкам, их воспитанию, сходному, по его словам, с русским, основанному на раб-

стве и обязательном труде поселян, их ханжеству, их любви к церковным обрядам и процессиям.

Однажды Астрапидес вместе с Алкивиадом, в один из тех прекрасных и сухих зимних дней, которыми так богата Аттика, сидели в Акрополе, на ступенях Пропилеи.

Астрапидес говорил о великом будущем новой Греции, о «великой идее».

Печальное сомнение закралось на миг в душу Алкивиада, и он, желая, чтобы Астрапидес убил в нем это сомнение, сказал ему:

– Возрождаются ли народы в третий раз? Мир имел Грецию Фемистокла и Сократа; имел византийское государство... Может ли повториться Византия снова?..

– Не Византия попов и деспотических государей! – воскликнул Астрапидес. – Греция – истинной демократии и чистого деизма. Каир,[2] может быть, явился минутным провозвестником этого будущего. Друг мой! скажи мне, где в Европе найдешь ты это полное жизненное соединение равенства и свободы? Франция – страна равенства, но не пример свободы; Англия – страна свободы, но не в ней дол-

жен изучать мудрец законы развития гражданского равенства. Только здесь (Астрапидес указал рукой на веселый город, который без звука двигался и жил у ног их), только здесь и в Америке эти два великие принципа вступили в возвышенную гармонию...

Что общего, мой друг, между этою светлою, благородною Грецией и мрачным Ариманом Севера? Их духовная связь – плод невежества толпы, для которой колокольный звон еще дороже простых и возвышенных идей, доступных нам с тобою. Примиримся с Турцией; вернем ей доверие нашею умеренностью, нашею искренностью, и ты увидишь плоды этого раньше, чем думаешь... Наш образ мыслей быстро проникает в умы греков, подвластных султану. Та же самая Россия, увлекаемая событиями, поддержит права христиан и будет склонять Турцию к новым реформам. Запад, чтобы не уступить первенства, будет делать то же; утроит, учетверит число христианских пашей в странах, подвластных Турции; вооружатся, под знаменем султана, христианские полки; тогда я первый возвышу голос за что хочешь, я готов буду сказать: пусть Эллада

свободная присоединится к Турции... Мы потопим Турцию; не ленивому турку, не болгарину, не грубому сербу, не легкомысленному валаху бороться с эллином духовно. Духовное, умственное влияние будет за нас. Над этою обширною ареной, открытою греческому уму и греческой энергии до рокового часа, будет носиться безвредная, бессильная тень исламизма, некое подобие власти, которое нам будет необходимо до этого рокового дня и часа, чтобы завоевать себе доверие Европы и чтобы дать отпор тем грубым славянским началам, которых пока еще много в Турции, вследствие нашего невежества, вследствие нашей лжи, наших же ошибок, нашего безумия, бестактного революционерства, ложной основы православных сочувствий...

Тогда Алкивиад понял, что для Астрапидеса Англия и Турция – не что иное, как более верные орудия эллинского прогресса, чем Россия и православие.

Скоро и он стал проповедывать то же и так горячо, что даже сестра его стала расходиться с ним. Она согласна была в основаниях, но с трудом допускала, чтобы тем можно было

увлечь народ до сближения и союза с турками.

У Астрапидеса было имение в Акарнании, довольно хороший дом, бараны и небольшие посевы.

Во время выборов Астрапидес всегда уезжал туда; он пользовался большим влиянием на селян, и в Афинах многие обвиняли его в тайных сношениях с разбойниками.

Иные говорили, что он получает деньги от англичан; а другие подозревали, что между англичанами, Астрапидесом и разбойниками существует тайная связь, но так, что каждый ищет обмануть другого. Англичане желают, с одной стороны, иметь за себя в печати и на выборах даровитого и энергического деятеля, а с другой – очень рады, чтобы в Греции не прекратились безначалие и разбои. Разбойники ведут свои расчеты, зная, что они необходимы таким людям, как Астрапидес... Астрапидес же, утверждали люди, и Англию отвергнет, когда найдет что-либо лучшее. Алкивиаду говорили об этом многие, но он не хотел верить этому. Вскоре пришлось ему убедиться, что эти обвинения были справедли-

ВЫ.

Астрапидес пригласил его с собою на выборы в Акарнанию, и речь его была так убедительна, что Алкивиад согласился с удовольствием.

– Ты увидишь эту прекрасную, суровую родину наших боевых капитанов... Акарнания, которой роль была так темна и ничтожна в истории древней Эллады, в истории последнего возрождения нашего играет самую блестящую роль. Ты увидишь Мисолонги... что я прибавлю к этому?! Тень лорда Байрона будет парить над нами. Я знаю, ты одарен поэтическим чувством и с радостью увидишь наших рыцарских капитанов, наши дубовые леса, которых жолуди кормят целые селения...[3] Увидишь наши дома. В нашем доме, например (прибавил соблазнитель с улыбкой), ты увидишь бойницы, они заложены камнями и замазаны известью в обыкновенное время: но во время выборов их открывают, потому что иногда от спора дело доходит у нас и до...

Тут Астрапидес приостановился и, зорко взглянув еще раз на Алкивиада, прибавил как бы шутя:



– Увидишь, вероятно, и разбойников наших. Посмотри, какие молодцы. Ты, который говоришь, что ненавидишь положительный дух купечества и вечного порядка... ты увидишь их, я уверен, с удовольствием...

– Где ж я их увижу? Не отдаться же мне им в плен из любопытства? – спросил Алкивиад.

– Увидим и без плена. Ведь и они люди. Алкивиаду показались последние слова до того подозрительными, что он поколебался на минуту.

Он не верил, что беспорядки и разбой единственное и лучшее средство для эллинского прогресса, и честному сердцу его примириться с иезуитскими средствами было не легко. Он отвечал Астрапидесу, что подумает, но в тот же вечер чуть за него не поссорился с зятем, и с досады, не желая оставаться больше у зятя в доме, уехал с Астрапидесом в Акарнанию.

Ссора случилась за ужином.

Алкивиад стал говорить о красноречии Астрапидеса, о необыкновенных его дарованиях и о том, что он зовет его с собою на выборы.

– Красноречив он, это правда, и даровит; а английские фунты стерлингов еще красноречивее и даровитее. Они хоть кому озолотят речь, – сказал насмешливо толстый Гайдар-эффенди.

Завязался горячий спор, который сестра Алкивиада напрасно пыталась смягчить, воздерживая то мужа, то брата.

Алкивиад разгорячился до того, что сказал зятю: «Твои уста не озолотятся никакими сокровищами ни Запада, ни Востока. Твои нападки на Астрапидеса – злобное шипение зависти к высокому государственному таланту»...

Зять, с своей стороны, обозвал Астрапидеса уже прямо подкупленным агентом Англии и пристанодержателем разбойников, а Алкивиаду сказал, что он напрасно ест хлеб и занимает деньги у человека, которого презирает и считает глупцом...

Алкивиад встал из-за стола и ушел, несмотря на мольбы сестры, к Астрапидесу на квартиру.

Оттуда написал он к сестре нежное, почти-тельное письмо, упрашивая ее простить ему

«эту понятную вспльчивость» и сказать мужу, что долг он ему по возвращении в Афины постарается заплатить.

Чрез две недели они с Астрапидесом сидели неподалеку от селения, в тени прелестной дубовой рощи. Около них на лужайке паслись овцы, мирно бряцая колокольчиками.

Астрапидес был задумчив и жаловался, что выборы не совсем хороши. Напрасно лилось вино в его доме, напрасно жарились бараны и куры, – речи его, приспособленные к понятиям селян, лились еще обильнее вина... Надежды были слабы; особенно в двух селах люди обнаруживали совсем не то направление, которого искал Астрапидес.

Алкивиад слушал его жалобы и разделял искренно его досаду...

В это время подошел к ним пастух Астрапидеса и отозвал его в сторону.

– Говори при этом человеку: он первый друг мой. Пастух колебался.

– Говори! – грозно сказал Астрапидес.

– Как хотите! – ответил пастух и улыбнулся, посмотрел пристально на барина своего и сказал:

– Ребятам вчера вечером дал я трех овец. А насчет хлеба и вина сказал: вам скажу. У меня где ж хлеб и вино!..

– Хорошо сделал, – отвечал Астрапидес. – Когда ж они придут?

– Завтра вечером опять придут.

– Хорошо. Мальчик вынесет тебе в овчарню хлебов и вина... Ничего нового? Сам не был?

– Сам не был; а новый молодец один большую до вас просьбу имеет...

– Который? – спросил Астрапидес, – не тот ли, что из Турции бежал?

– Этот самый! – отвечал пастух.

– Что ж, очень рад! – воскликнул Астрапидес, – пусть зайдет завтра вечером. А лучше бы еще было, если б и сам побывал вместе с новым молодцом. Завтра, как свечереет, буду ждать их... Из-за чего тот из Турции убежал, не знаешь?..

– Из Турции? – отвечал пастух, – поссорился с офицером и свалил его с лошади в грязь, и бежал после этого. Как же не бежать? Сами знаете! Молодец хороший... вполне человек, мужчина!

Астрапидес развеселился и, возвращаясь домой, дал пастуху щедрое награждение.

Алкивиад из этого разговора понял все, понял, что зять его был прав и что Астрапидес пристанодержатель и друг разбойников. Он не стесняясь тут же выразил ему свое негодование.

– С этими средствами я никогда не помирюсь! – сказал он.

– Если ты не помиришься, ты докажешь этим, что ты еще очень молод, что глубина государственных вопросов тебе еще недоступна, – сказал Астрапидес.

– Я никогда не войду в союз с преступлением, – возразил студент.

Астрапидес остановился и, взяв его руку, начал так:

– Существуют ли в Акарнании разбои помимо нашей воли? Существуют. Нарушают ли они без нашего участия спокойствие мирных жителей? Конечно, нарушают. Полезны ли такие беспорядки для высших целей политических сами по себе? Бесполезны. Призван ли я специально преследовать разбой? Офицер ли я королевской службы, под началь-

ством которого состоят солдаты для искоренения разбоя? Пристанодержательствуют и без того селения наши от простого страха и не извлекая из преступных действий своих никакой пользы для эллинизма. Не употребляют ли часто и люди противной нам партии те же средства для достижения губительных, по нашему убеждению, целей?.. Итак, неужели так преступно со стороны патриота, если он берет то, что зовут французы *le milieu*, – среду, таковою, как она есть, и, освящая средства целью, подчиняет себе обстоятельства? Зло силою своего духа принуждает служить благу и бесплодно-смертоносный яд претворять, подобно врачу, в благотворное лекарство!.. *Dixi!* Вы, милый друг мой, предпочитаете вашу личную чистоту государственной пользе – это ваше дело... у всякого свои понятия о чести и пользе... Дайте свободу и другим, особенно тому, кто не колеблясь доверяет вам самые опасные тайны, ввиду вашей зрелости и мужественного характера!.. Что, разве не хорошо я сказал?..

Алкивиад заметил печально на все это:

– Надеюсь обойтись в жизни и без этого

полезного яда, и если продолжать уподобление, то и врачи избегают сильных лекарств до последней крайности... И наконец, иное дело – соглашаться, что известное зло может иногда приносить добрые плоды, иное дело – самому вступать в союз с этим злом. И древние эллины олицетворяли в религии своей всякие силы и всякие страсти, но и они, я думаю, понимали, что лучше быть в союзе с Фебом, чем в союзе с фуриями...

– Я вижу, что ты очень умен, – ответил Астрапидес с отеческою улыбкой, – и надеюсь, что зрелость этого блестящего ума не заставит себя долго ждать. *La jeunesse est un default dont on se corrige bien vite.* Недурно сказано? Остроумный человек был этот француз, не так ли?

## IV

На другой день, под вечер, Алкивиад сам увидел, как пастух Астрапидеса провел в дом двух людей, закутанных в бурки. Он понял, что это были разбойники и что друг его хочет вступить с ними в какие-то преступные соглашения. С негодованием удалился он в свою комнату, зажег свечу и лег на диван с газетой... Но и газета мало занимала его... Воображение его стремилось на ту половину дома, где происходило таинственное свидание... Утром у них с Астрапидесом был новый спор об этом, и во время спора того Алкивиад узнал от Астрапидеса, что разбойник, которого ждет хозяин дома, не кто иной, как знаменитый Дэли[4].

Об этом Дэли Алкивиад слышал не раз еще и в Афинах, и Астрапидес показал ему утром его фотографическую карточку.

Дэли красивый, бородатый мужчина средних лет, лицо его скорее приятно, чем свирепое.

Рассказывают, что он стал разбойником из мщения.



Еще он был очень молод, когда солдатам короля Оттона случилось зайти в то село, где он жил.

В числе этих солдат были негодяи, которые изнасиловали молодую сестру Дэли.

Дэли поклялся вечно мстить военным, убежал из села, собрал шайку удальцов и стал разбойником. Сначала он был жесток только к тем, которые носили мундир; с людей гражданских он брал только выкуп и вообще обращался с ниши хорошо, а иногда и по-рыцарски.

Военных он убивал без пощады. Так было сначала (рассказывал Алкивиаду Астрапидес); но позднее обстоятельства ожесточили Дэли еще больше. Дэли был женат, но бросил жену и похитил из одного селения молодую девушку, которая влюбилась в него. Он одел ее по-мужски, в фустанеллу, и она всюду следовала за ним, разделяя всюду с ним и нужду, и добычу, и опасности.

Астрапидес уверял, что сам видел ее. При одном из его прежних свиданий с разбойничьим капитаном присутствовала и эта молодая девушка. Встреча была днем в лесу, и Аст-

рапидес сознавался, что он не мог скрыть, до чего она ему понравилась. Опираясь на ружье, она стояла поодаль с двумя другими паликарами; одета была в этот день по-праздничному, щегольски... Феска до того мило держалась на ее подстриженных волосах, бурка до того изящно спадала с ее нежных плеч, что Астрапидес, разговаривая с Дэли о самых опасных и важных делах, не мог воздержаться, чтобы не взглядывать беспрестанно в ее сторону. Он не мог налюбоваться ею.

Дэли замечал его движения и изредка улыбался.

Наконец Астрапидес сказал разбойнику, пытаясь привести его в замешательство:

– Какой это у тебя молодой паликар красавец! Что за картинка...

Дэли покраснел и сказал как бы с равнодушием.

– Понравился он тебе? У меня все паликары хорошие, все злодеи люди! Все собаки такие, каких свет еще не видал...

А потом потрепал на прощанье Астрапидеса по плечу и сказал ему:

– Так понравился паликар тебе? Ох вы мне

словесники, словесники городские! Что мне делать с вами! Нет у вас ни Бога, ни дьявола, и все у вас что-нибудь скверное на уме...

Не так давно эту девушку убили королевские солдаты, и с тех-то пор Дэли стал гораздо еще суровее и злее прежнего. Вот как это было. Отряд войска напал наконец на след разбойников. Дэли, который привык смеяться над усилиями своих гонителей, присел отдохнуть с любовницею своею в одной пещере. Они разложили огонь и начали варить кофе.

Солдаты заметили, что из пещеры выходит дымок, и направились к ней...

Раздались неосторожные, преждевременные выстрелы. Дэли и подруга его схватились за оружие, выбежали из пещеры и бросились вверх, с камня на камень в кусты...

Солдаты были далеко, но одна из пуль их ударила молодую девушку в грудь и убила ее на месте. Дэли убежал.

Рассказывая все это Алкивиаду, Астрапидес знал, кому он это говорит. У Алкивиада было пылкое воображение, и потому все поэтическое могло ему нравиться, даже и тогда, когда оно было преступно.

И вот теперь, лежа на диване, он не читал газеты, а думал о Дэли и о его погибшей любовнице... Знать, что Дэли всего чрез две стены от него и не видать его – казалось ему очень скучным. Гражданская совесть предъявляла свои требования, поэзия – свои...

Он уже стал проводить мысленную и глубокую черту между участием во зле и созерцанием этого зла из простого любопытства... Он уже восклицал про себя:

«Неужели врач, изучающий труп отравленного, или даже судья, с любопытством вззирающий на отравителя, имеют что-либо общее с помощником отравителя, с тем человеком, который тайно продал ему этот яд?..

И к тому же, какая разница между каким-нибудь низким преступником, одним из тех преступников, которых темные и холодные злодейства изображает нам западная словесность, и греческим отважным паликаром, который не утратил ни рыцарского, ни религиозного чувства, ни даже патриотизма. Я думаю... о, я уверен, что и Дэли, и всякий разбойник, горец наш, может стать при случае патриотом и сразиться с врагом за отчиз-

ну... Прежние клефты доказали это, и сфакиоты критские в мирное время похищали не только овец и мулов у своих же соотечей-критян, но насильно увозили в горы богатых невест, в надежде, что родители должны будут уступить после... И разве эти сфакиоты не оказались истыми элинами во время последней, несчастной борьбы?.. Где же англичанину или французу понять, что такое грек!..»

Так рассуждал сам с собою молодой человек, сторяя желанием увидеть Дэли.

Да, желанием он сторал, но, отринув так резко всякое примирение с идеями Астрапидеса, какая же была возможность постучаться в ту дверь, за которой Астрапидес совещался со своими опасными союзниками?

Однако, видно, судьбе было угодно, чтобы Алкивиад познакомился с разбойниками. Астрапидес сам пришел к нему и сказал:

– Вставай, люди тебя желают видеть!

– Меня? – с удивлением спросил Алкивиад. – На что я им?

– Увидишь. Именно до тебя, а не до кого-нибудь другого есть дело. Ты можешь сде-

дать большое добро и спасти невинного человека.

И, говоря это, Астрапидес увлекал его дружески и почти насильно за собой...

Дэли сидел, облокотившись на стол, задумчиво и величаво избоченясь, когда молодые люди вошли...

Одет он был чисто и даже богато. Другой его спутник казался гораздо моложе; ему на вид не было и тридцати лет, но у него не было ни благодушия, ни благородства в лице, как у Дэли. И одет он был небрежнее, и беднее, и ростом ниже, и собой не очень красив, бледен, худ, как настоящий албанец; сила выражения была у него только в серых и лукавых глазах и в небольших усах, приподнятых и закрученных молодецки.

– Вот он самый, друг мой! – сказал разбойникам Астрапидес, указывая на Алкивиада.

Поздоровались и сели, о здоровье спросили. Дэли был величав во всех своих приемах; редкому номарху Греции удастся так поздороваться и так сесть. Товарищ его, напротив того, не пожал руку Алкивиада крепко и по-братски, а подошел почти униженно, чуть

коснулся пальцами его руки и возвратился к своему месту, почтительно склоняясь и прикладывая руку к сердцу. Он даже не хотел сесть, пока не сели все другие.

– Он из Турции, и зовут его Салаяни, – сказал Алкивиаду Астрапидес. – Он имеет до тебя просьбу.

Салаяни опять почтительно поклонился Алкивиаду.

– Говори же! – сурово сказал своему спутнику Дэли. – Оставь политику свою и без комплиментов расскажи о деле.

– Эффендим! – воскликнул Салаяни, вздыхая, – происходит великая несправедливость. Христианство страдает в Турции...

– Бедный человек! – воскликнул Дэли, смеясь и качая головой, – он все с пашой еще словно говорит... Скажи ты прямо, не тирань ты человека глупыми речами...

– Но что ж ему бедному и делать, – вступился Астрапидес, – привычка, рабство...

– Рабство, рабство! Глупость, а не рабство, – сказал с презрением Дэли и потряс рукой на груди своей одежду. – Э, человек! Говори...

Наконец дело объяснилось. Салаяни

несколько лет тому назад служил мальчиком в городе Рапезе у богатого архонта кир-Христо Ламприди. Этот Христо Ламприди был Алкивиаду дальний родственник, троюродный брат его отцу. Вес г. Ламприди и в городе, и вообще в Турции был велик. Недавно его султан своим капуджи-баши[5] сделал.

– Служил у него я мальчиком, – говорил Салаяни все вкрадчиво и почтительно, – и был он мне как отец, и я ему был как сын, пока не случилось со мной несчастья: шел я однажды по улице на базар. Встретился мне один турок, низам, несет в руке говядину сырую и говорит: «Эй, морэ[6]-кефир![7] снеси эту говядину в казарму, а у меня другое дело есть». – Я говорю: зачем мне нести твою говядину? У меня у самого дело есть. «Снеси, несчастный кефир! – говорит он мне, – ты ведь мальчик еще, и казарма близко». – Нехорошо ты делаешь, ага, – говорю я ему, – что кефиром меня зовешь: это законом запрещено! «Так ты мне говоришь?» – спрашивает он. – Так я тебе говорю, ага! – я сказал. Тогда он взял эту говядину сырую и начал бить меня сырою этою говядиной по лицу и ругать веру нашу. Я стал



отбиваться. Прибежали другие низамы... избили меня, а потом подошел офицер их, отнял меня и отослал в конак, а оттуда меня в тюрьму послали, и просидел я в тюрьме около месяца...

Астрапидес и Алкивиад слушали серьезно, но Дэли смеялся и говорил:

– Хорошо тебя вымыл турок. Я рад, потому что ты не человек, морé. Ты бы должен был убить его на месте, а не кричать, пока сбегутся другие низамы... Албанская голова, сказано! Э, рассказывай дальше, несчастный... Со скучился уж и я, тебя слушавши, а молодой господин этот, глядя на то, как ты ломаешься пред ним, как бы тебя в дьявольский список [8] не записал, вместо помощи... Бедный, бедный.

Дальше рассказывал Салаяни так: г. Христо Ламприди, дядя Алкивиада, выхлопотал было ему сокращение тюремного срока, взял его к себе опять на поруки, что будет хорошо себя вести, и жил так бедный, невинный мальчик долго. Потом случилось другое несчастье. Тот офицер турецкий, который отнял Салаяни у солдат, но вместо того, чтобы

наказать своих, обвинил его, ехал раз верхом около дома г. Ламприди. Время было грязное, и офицер, вместо того, чтоб ехать посреди улицы, въехал на тротуар около самого дома. Салаяни в это время выносил на улицу кой-какие вещи хозяйские, и в руках у него была хорошая стеклянная посуда. Наехал офицер так неожиданно и прижал его к стене так близко, что посуда выпала из рук Салаяни и разбилась. Начал он спор с офицером и стал кричать, что хозяину убыток большой... Офицер замахнулся на него хлыстом, а Салаяни толкнул его лошадь так, что она упала вместе с офицером с тротуара в глубокую грязь... и офицер расшибся и весь в грязи измарался; а Салаяни тотчас же бежал, сперва в горы, а потом и в Элладу...

– Вот они, наши дела-то какие! – сказал все с улыбкой Дали Алкивиаду. – Турецкие дела!.. Теперь этот молодец желает, чтобы добрый дядя ваш, г. Христо, выпросил ему прощение у пашей тамошних и чтоб ему было позволено возвратиться на родину. Вы напишите вашему дяде, просит он.

Астрапидес заметил, что нынче гораздо

больше законности, чем было прежде, и потому не трудно ли будет это...

– А больше ничего нет? – спросил Алкивиад.

– Есть и еще, – ответил Салаяни, снова принимая скромный и почтительный вид. – Только это великая обида. Когда я был в горах – убили ночью другие люди двух человек. Христиане они были... Сами же соседи убили, а на меня говорят... Только пусть я почернею и с места не сойду, и пусть Бог меня накажет, если это не обида мне!..

Все слушатели улыбнулись, и Астрапидес, и Дэли, и даже Алкивиад, несмотря на внутреннее волнение, которое он чувствовал, слушая все, что говорил Салаяни. А Дэли прибавил: «Все несчастья с молодцом приключаются... Судьбы ему нет, а сам он, как святой человек, я так, глядя на него, думаю»... Астрапидес заметил, тоже смеясь и обращаясь к Дэли: «Говорят люди: турецкие дела! Можно и так сказать: эллинские дела!»

– Ба! – сказал Дэли, встав, – это-то слово я давно говорю... Именно так: эллинские дела. А молодцу вы, господин Алкивиад, все-таки

помогите. Какая бы ни была, а все душа христианская.

Алкивиад обещал написать дяде письмо и послать не по почте, а с верным случаем. Сверх того он сказал, что давно и сам бы хотел побывать в Эпире у родных. Может быть, и поедет скоро; тогда на словах еще легче все кончить. Салаяни вызывался и сам отнести письмо в Эпир и переслать в Рапезу; но Алкивиад не решился дать в руки незнакомому и подозрительному человеку письмо, которое могло бы и повредить г-ну Ламприди.

Разбойники простились и ушли. Салаяни еще раз униженно благодарил афинских господ, и оставшись одни – Алкивиад и Астрапидес – опять проспорили до полуночи.

Алкивиаду несколько раз приходили на ум «английские фунты»; но он был слишком благороден и еще слишком сильно любил Астрапидеса, чтоб оскорбить его так ужасно на основании одних слухов. Он довольствовался тем, что горячо оспаривал право гражданина пользоваться всякими средствами даже и для возвышенных целей.

Астрапидес был непреклонен и повторял:

«Ты увидишь, что иначе нельзя! Ты увидишь, как все будет хорошо теперь».

Правда, не прошло и недели, как те села, которые больше всех упорствовали в противном направлении, сдались на тайные угрозы и подали голоса в пользу тех, кого хотел Астрапидес.

Были при этом и угощения; вино Астрапидеса опять лилось чрез край; на дворе его гремела музыка, плясались народные пляски. Молодые афинские щеголи братались с селянами, и даже раз оба, одевшись в фустанеллы, плясали сами так хорошо (особенно лихой Астрапидес), что деревенские люди кричали им: «браво, паликары, паликары городские, браво!» Иные обнимали их.

Одно только событие отуманило это веселье. Один двадцатилетний племянник убил из пистолета своего дядю. Они заспорили о политике; племянник был сельский паликар, а дядя афинский словесник[9]. Племянник обличил дядю в бесчестности; дядя вынул револьвер, но племянник предупредил его движение и сам убил его наповал.

Астрапидес в ту же ночь выслал юношу на

турецкую границу, и турки приняли его хорошо; узнав, в чем он виноват, они его удержали, несмотря на требования греческого номарха, говоря друг другу:

– Разве они нам выдают наших преступников? Никогда... Вот и Салаяни не хотят выдать. Мальчик этот хороший – зачем его выдавать?

Вскоре после этого Алкивиад простился с своим другом и уехал в Корфу к отцу. Чувство его к Астрапидесу стало остывать, и согласиться с ним он не мог.

Чувствуя свою вину пред зятем, он из Корфу написал сестре очень ласковое письмо, в котором просил извинения у зятя и сознавался ему, что он «в Астрапидесе ошибся».

«Больше, однако, я ничего не скажу. Это долг моей прежней дружбы и убеждение, что он лишь заблуждается, но не так виновен, как вы думаете... В такую безнравственность я никогда не поверю и потому буду молчать».

Из Корфу Алкивиад хотел было тотчас же ехать путешествовать по Эпиру; но жаль было скоро покинуть отца; он отложил поездку и написал пока письмо о Салаяни к Христки

Ламприди, в город Рапезу, в котором тот жил всегда. Христаки Ламприди был не только самый первый богач своего края, не только капуджи-баши, но дом его уважали еще в Эпире, как «старый и большой очаг».

Отец Христаки торговал пшеницей и кожами и был богат и известен самому Али-паше Янинскому. Случилось так, что Али-паша услышал от кого-то похвалы европейским серебряным сервизам для стола; он захотел непременно иметь такой сервиз. Кому поручить? Он вспомнил, что отец Христаки имеет дела с триестскими торговыми домами, вызвал его в Янину и сказал ему: «Поезжай ты сейчас в Триест; закажи самый хороший таким франкского серебра и привези мне; а я тебе заплачу, если будет вкусен и красив!» Кто не трепетал тогда Али-паши! Убить человека всегда было в его воле; его боялись в самом Царьграде. Рассказывают, что он узнал раз, будто один консул западный пишет о злодействах его подробно в свое посольство; он призвал его к себе и сказал ему:

– Консулос-бей! Не пиши ты так худо обо мне посланнику; узнаю я, что ты еще пи-

пешь, заплачу двум арнаутам, и они убьют тебя; а я потом схвачу их и повешу, и напишу: вот как я наказал злодеев, которые консула умертвили. И твой эльчи[10] будет рад...

Каково же было ехать купцу в Триест на свой страх покупать серебро? Он простился, проливая слезы, с семьей и уехал, среди зимы, в самое бурное время, на простом парусном судне. Серебро, однако, понравилось папе. Он заплатил за него гораздо дороже, чем оно стоило самому Ламприди, и дал в награду ему и его роду похвальный фирман. В фирмане было приказано всем и всегда уважать этот почтенный, честный и старый дом, в котором и гостеприимство издавна таково, что и очаг никогда не гаснет, и казан в кухне всегда кипит.

Все это Алкивиад знал и прежде, и дядю самого и сыновей его знал давно, потому что они бывали в Корфу и останавливались всегда у его отца.

В письме он не говорил, конечно, где и как он встретил Салаяни, но просил его только употребить свой вес и свое влияние, чтобы Салаяни позволили поклониться.[11] Он жа-



луется, что утомлен жизнью клефта и хочет, подобно стольким другим прощенным разбойникам в Турции, перейти снова в мирное гражданское житье.

Через две недели кир-Христаки ответил Алкивиаду так:

«Это правда, – писал он, – что многие поклоненные разбойники в Турции стали прекрасными и честными гражданами и живут между нами хорошо, так что и мы уважаем их. И у меня есть один приятель такой; он уже старик, торгует честно и живет богато. Но поклониться теперь труднее, чем было прежде: теперь в Турции гораздо более законности, и едва ли новый паша допустит Салаяни поклониться; он желает переловить всех разбойников и наказать их, а не прощать.

Сверх того, любезный друг мой, скажу я тебе и про Салаяни самого, что он, может быть, теперь и утомился; но я его знаю с детства: он злой и лукавый человек, у которого ничего нет святого, и я ему не верю. Не будет сам он разбойничать, так пристанодержателем станет, что иногда еще хуже. И каково же мне стать поручителем за такого изверга? И пусть

он не говорит, что «турки виноваты»; виновата его злоба, а не турки. Не ему одному, деревенскому мальчику, случилось дерева поесть [12] от турок, но разбойниками люди эти не стали... И офицер, которого он в грязь столкнул, отличный был человек, доброй души и вовсе не тиран. Поэтому передай Салаяни, чрез кого ты знаешь, что я для него не сделаю ничего!»

В конце письма г. Ламприди еще раз звал Алкивиада в гости к себе в Рапезу, поесть наш хлеб и посмотреть, как мы, люди старинные и ржавые, живем в Османли-Девлете.

Хотя Алкивиаду уже не хотелось писать к Астрапидесу, но делать было нечего; он желал сдержать слово и дал знать чрез него разбойнику (не называя его по имени на бумаге, а просто тому молодцу), что сделать для него никто ничего не может.

Недели через две после этого, простясь с отцом, Алкивиад сел на пароход и поехал в Эпир.

Алкивиад вышел на турецкий берег впервые в Превезе... В этом городе у него был знакомый доктор, родом кефалонит. Он его знал еще холостым в Корфу, встречался с ним и в Афинах.

Доктор был человек образованный, умный, очень живой и страстный ритор. Алкивиад уважал его и очень был рад встретить его в Превезе. Доктор был предупрежден о приезде Алкивиада, но сам не мог поспеть ему навстречу и выслал вместо себя на пристань двух слуг, чтоб они проводили Алкивиада до его дома и принесли бы его вещи.

Алкивиад прошел с ними около крепости, на которой развевался кровавого цвета флаг с белым полумесяцем.

Первые впечатления молодого эллина не были слишком грустные; любопытство долго заглушало в нем вопли патриотического чувства...

Городок имел вид мирный и приятный. Белые домики его весело стояли в зелени; апельсиновые сады и широкие оливковые ро-

щи проливали кроткую тень на окрестность. Народ казался бодр и опрятен: одет он был в фустанеллы, точно так же, как и в свободной Акарнании... Алкивиаду даже понравились почтенные турки-ходжи в белых чалмах.

Один из слуг, сопровождавших его, был очень разговорчив. Он сказал Алкивиаду, что он не слуга доктора, а слуга г. Парасхо из Репезы, другого дальнего родственника Алкивиада; что г. Парасхо и кир-Христаки Ламприди нарочно выслали его в Превезу навстречу гостя. Сказал еще, что его зовут Тодори-сулиот из деревни Грацана и что у него есть для дороги хорошее оружие. Алкивиад уговорил его идти с собой рядом, и Тодори объяснял и показывал ему дорогой все, что он желал знать.

На базаре, где было больше народа, путешник неприятно поразил один случай... Их обогнал сперва высокий вооруженный и суровый паликар, а за паликаром шел очень гордо невзрачный, сморщенный и дурно одетый европеец в форменной фуражке... Тодори сказал ему, что это один из западных консулов. «Недавно он торговал пиявками и то секретно, потому что в Турции все пиявки царские;

а теперь вот большой человек стал и консул!» Так сказал Тодори...

Алкивиад видел, что на базаре все при-  
вставали и кланялись, когда консул проходил  
мимо; видел, как небрежно и гордо отвечал  
жалкий европеец на поклоны эти... Видел и  
худшее. Сперва один солдат турецкий и по-  
том один грек, продавец сластей, не успели  
посторониться с узкого тротуара. Кавасс кон-  
сульский столкнул их обоих вниз так сильно  
и грубо, что солдат едва устоял на ногах, а у  
грека упал лоток, и все конфеты рассыпались  
по грязи. Могло ли это понравиться сыну сво-  
бодной Греции? Почтение, которое обнаружи-  
вал народ пред вчерашним продавцом пия-  
вок, показалось ему отвратительным низко-  
поклонством... вековою привычкою рабства.

Грубое обращение кавасса еще больше воз-  
мутило и удивило его.

Южный округ Эпира славится удальством,  
и многие из этих же самых людей, которые  
так покорно выносят толчки, завтра способ-  
ны снова, как в 21 году или во времена Грива-  
са, залечь за камни с ружьем или гнать му-  
сульман с обнаженными ятаганами по горам

до самых ворот города!

Доктор встретил его на пороге своего дома, и они обнялись. Докторша сама подала ему варенье с водой и кофе, спросила его о здоровье отца и всех других родных его, которых она никогда не видала, и, исполнив этот долг, удалилась в угол и села там, не мешаясь более в разговор...

Зато сам хозяин был многоречив, и слог его речей был по-старому возвышен.

– Итак, – сказал он Алкивиаду, – вы решились взглянуть на этот рабский край? Вы хотите попать стопами свободного элина землю вековой неволи? Хорошо. Прекрасная мысль! Вы посетите, я не усомнюсь, славную Пету, где покоятся кости филэллинов. Вы бросите, конечно, ваш взор и на развалины Никополя, на полуразрушенную баню, которую иные зовут баней Клеопатры. Обзор этих развалин поучителен не только в одном археологическом отношении. Он пробуждает в нас глубокие размышления о непрочности всего земного, о падении великих царств, и унылое сердце грека, страдающего под ненавистным игом зверей, принявших человеческий образ,

раскрывается для новых надежд.

– Это правда. Я посмотрю все это, – отвечал Алкивиад. – Скажите мне, однако, как вы живете здесь...

– Как живем? – отвечал доктор с улыбкой. – Как живут варвары? Может ли человек как следует просвещенный ожидать чего-либо от страны, в которой бедность, рабство и невежество составили между собою союз, победимый только огнем и мечом!

– Турки, как слышно, делают успехи; просвещаются и стараются привлечь к себе население. Правда ли это? – спросил Алкивиад.

Доктор презрительно усмехнулся.

– Коран и прогресс так же примиримы, как огонь и вода! – воскликнул он.

– Не обманываем ли мы сами себя? – спросил Алкивиад. – Знать истину про себя, мне кажется, выгоднее, чем обольщаться... Аравитяне доказали, что Коран и просвещение совместимы. Не следует ли бояться, чтобы турки не пошли по их следам?

– Ба! – воскликнул доктор, – можно ли аравитян сравнивать с турками? Турки слишком просты. Я приведу вам один недавний при-

мер турецкой глупости. Года два тому назад Превезу посетил австрийский император. Я расскажу вам в мельчайших подробностях об этом событии.

Здесь доктор должен был остановиться, потому что в столовой накрыт уже был обед, и молодой гость его признавался сам, что он очень голоден.



# VI

Обед доктора был хорош. Густой рисовый суп с лимоном и яичным желтком «авго-лемоно», любимый на Востоке; слоеный пирог с начинкой из шпината; индейка, начиненная изюмом и миндалем, и пилав с кислым молоком.

Докторша не принимала, по-прежнему, участия в разговоре; она, беспрестанно вставая из-за стола, занималась хозяйством и угощала Алкивиада так навязчиво, что муж, наконец, сурово заметил ей:

– Перестань беспокоить человека. Есть пределы самому гостеприимству! Это становится пыткой, сударыня! А вас, кир-Алкивиад, я прошу извинить нашу эфиротскую простоту; моя госпожа – женщина древняя... не по летам, а по обычаю.

– Мы так приучены! – скромно присовокупила докторша и тоже извинилась.

Алкивиаду, который привык к свободе женской в Афинах и Корфу, не понравились ни суровость мужа, ни лицемерная стыдливость жены, и он поскорее попросил своего

хозяина рассказать о приезде австрийского императора.

– С удовольствием! – воскликнул доктор. – Я расскажу вам это подробно. Однажды, ранним утром, летом 67 года, вошел в нашу гавань военный пароход под австрийским флагом. Австрийский консул, бывший здесь тогда, человек пожилой и простой, вышел из дома своего в халате и туфлях, и так как жилище его было на берегу моря, то он скоро увидал, что от парохода отделилась шлюпка с простым флагом, полная офицеров. Консул, полагая, что это простые соотечественники, начал кричать им: «Добро пожаловать!» и манить их рукой. Шлюпка остановилась перед самым домом его. Первый выскочил из нее офицер средних лет, и консул хотел рекомендоваться ему и пожать руку, как вдруг следующий офицер сказал ему: «Это его величество!» Бедный консул до того растерялся, что пошатнулся и упал бы навзничь, если бы сам император не поддержал его. Мало-помалу он пришел в себя; переоделся, принял государя у себя в доме и угощал его по-здешнему, вареньем и кофе. Отдохнув, император приказал

нанять простых лошадей из ханов, для поездки инкогнито на развалины Никополя, прежде, чем турецкие власти узнают о его прибытии. Он захотел, однако, на минуту зайти и в крепость, которая, как вы видели, защищает бухту. И вот тут-то вы увидите, какво просвещение Турции. Полковник, который начальствовал артиллерией в этой крепости, узнал, что император уже вошел в ворота; он выбежал, как был, расстегнутый, без галстуха, в старом мундире и, кланяясь императору, воскликнул: «Так-то ты приезжаешь к нам, не подав вести вперед! Обманул ты нас. Хорошо! Пойдите, и мы к вам в Вену когда-нибудь так придем! Увидишь!»

– Это не столько глупость, сколько честное простодушие военного, – отвечал с улыбкою Алкивиад. – Что ж было дальше? Какое впечатление произвело это на наш народ?

– Никакого, – отвечал доктор. – На базаре, конечно, любопытство пробудилось во многих, но одно лишь любопытство. Многие жаловались, что им помешали в этот день торговать спокойно. Совсем иное дело было, когда недавно еще прошел ложный слух о том, что

на русском пароходе едет к нам из Корфу Великий Князь Константин. Тогда бы вы могли полюбоваться на стечение народа, на восторг этой толпы.

– Это грустно, – сказал Алкивиад. – Славяне и панславизм – самые опасные враги наши.

– Я говорю не о славянах, а о России; о великой державной России, которой каждый шаг на Востоке был ознаменован облегчением нашей участи! – отвечал доктор с жаром. – Если вы под славянами разумеете именно русских, то я вам должен сказать с величайшим, глубоким сожалением, что я с мнением вашим согласиться не могу! Мы все привыкли чтить этот флаг.

– В политических мнениях, – возразил Алкивиад, – безусловно должно быть одно – любовь к отчизне; остальное должно изменяться по обстоятельствам.

– Подите измените взгляд наших простых людей, – воскликнул доктор.

Разговор этот скоро прекратился, однако, потому что доктор предложил Алкивиаду свести его в Порту и представить мутесарифу. Он говорил, что это будет одинаково полезно для

них обоих. Посещение это, в котором Алкивиад должен стараться быть почтительным и понравиться паше, произведет хорошее впечатление. Оно будет значить, что человек и не скрывается, и уважает местную власть.

Алкивиад согласился охотно на это предложение, и доктор послал слугу своего к паше спросить: «в котором часу угодно будет его превосходительству принять их».

Слуга возвратился скоро и сказал:

– Когда вам угодно: хоть сейчас же!

Доктор и Алкивиад собрались идти. Желая угодить мутесарифу, Алкивиад спросил: не лучше ли надеть фрак? Но доктор осмеял его, утверждая, что паша человек старинный, фраком его не пленишь, и что длинное пальто, которое было на Алкивиаде, понравится ему гораздо более, как одежда, дающая вес и солидность.

Они пошли.

Мутесариф был родом из дальнего Берата, из большого албанского очага. Доктор предупредил Алкивиада, что он встает с дивана только для других пашей, для консулов и для духовных сановников: для архиерея, для кади

или для еврейского хахана. И потому молодой грек без звания и положения в стране оскорбляться этою гордостью не должен.

Изет-паша точно не встал с дивана, но принял их довольно приветливо и, ударив в ладоши, на дурном греческом языке приказал принести им папирос и кофе.

– Надолго ли в наши страны? – спросил он Алкивиада.

Алкивиад сказал, что и сам не знает, что он желает только повидаться с родными... Мутесариф похвалил его за это; похвалил его рапезских родных, особенно дядю, старика Ламприди.

– Почтенный человек! – сказал он. – Старинного, большого дома! Падишах его недавно капуджи-баши сделал! И вся семья его почтенная, честная и хорошая. Старинная семья!

Но этот разговор приостановился, потому что паше подали телеграмму на турецком языке.

– Эй, морэ, – закричал он сердито, – где мои очки?

Слуга надел ему очки.

Изет-паша долго смотрел на телеграмму, качая головой, и наконец воскликнул:

– Скажите! не четвероногое этот телеграфчи? Так мерзко пишет! Позовите кетиба! [13]

Молодой кетиб вошел в модной короткой жакетке и феске и почтительно встал перед пашой.

Паша сурово приказал ему прочесть телеграмму про себя. «Разобрал?» – спросил он.

Писарь сказал, что разобрал. «Дай мне». Опять надел очки, опять смотрел угрюмо и еще раз осыпал проклятиями телеграфчи.

– Что ж он пишет?

– Пишет, – сказал молодой писец, – что из Эллады опять перешел границу разбойник Салаяни, как видно, от преследования греческих войск.

– Хорошо! они преследуют, а мы убьем его! – сказал паша и потом, снова обращаясь к писцу, спросил у него: – Какая это на тебе одежда?

– Одежда моды, – смиренно кланяясь, отвечал писец.

– Одежда моды? – грозно воскликнул Изет-паша. – И ты смеешь являться предо мной в

этой обезьяньей одежде? Разве не имеешь ты низамского сюртука, который назначен для службы? Европа, франки свели вас с ума!

– Я к вали-паше так ходил, паша-эффенди, извините меня! – дрожая оправдывался писец.

– Вали-паша не выгнал тебя по великой доброте своей, а не по закону. Ты меймур[14] и должен знать и меймурлик свой. Иди вон!..

Когда писец, смущенный и растерянный, оставил комнату, Изет-паша обратился к гостям своим и сказал им:

– Это они считают политичностью и образованием. Эта мода – гибель для всех нас.

– Вы говорите истинную правду, паша-эффенди, – воскликнул доктор. – Мода всех нас, восточных людей, сводит с ума, и мы от Европы принимаем лишь одно дурное, разврат и роскошь!..

С этими словами доктор хотел встать и проститься, но Изет-паша удержал их, говоря, что дел спешных теперь нет и он рад побеседовать. Он велел подать еще кофе и сигары, себе спросил чубук и повеселел.

Он много расспрашивал Алкивиада про Афины и Грецию; жаловался на разбои в обе-



их пограничных странах и сказал, наконец, нечто такое, что вызвало со стороны Алкивиада немного живой ответ.

– У вас держится разбой, – сказал паша. – Когда бы мы жили всегда в согласии и дружбе, как добрые соседи, так этому худу давно бы положили конец...

– Ваше превосходительство, извините меня, – сухо возразил Алкивиад, – если я не соглашусь с этим. Правительство наше конституционное и по этому одному иногда не может так легко и скоро наносить удары беспорядку, как могло бы правительство самодержавное, как ваше; если бы... обстоятельства, которых я не знаю и не сужу, не противились бы этому.

– Что он говорит? – спросил Изет-паша у доктора, – он говорит уж слишком по-эллиниски, и я таких высоких слов не понимаю.

– Он надеется, – сказал доктор по-албански, – что такое могущественное, самодержавное правительство, как правительство султана, скорее эллинского достигнет этой цели, и не хвалит конституцию.

Паша подозрительно поглядел на доктора

и сказал:

– Это правда. Это он хорошо говорит. Я старинного эллинского языка не знаю. Но люди, которые знают его, хвалят и говорят, что в нем много премудрости и сладости.

Доктор перевел полуалбанскую, полугреческую, полутурецкую речь паши своему спутнику, и они простились с пашой.

Паша сказал Алкивиаду, чтоб он не уезжал в Рапезу, не простившись с ним, что он хочет еще поговорить с ним и дать о нем похвальное письмо рапезскому каймакаму, «чтобы тот на него хорошо смотрел».

## VII

Алкивиад на другой день рано уехал верхом взглянуть на развалины Никополя.

Доктор спешил с утра к больным и сокрушался, что не мог сопутствовать ему. Сначала Алкивиад пожалел об этом, но потом утешился. Мечтать и думать было приятнее одному на зеленой равнине, где между морем и заливом стояли развалины.

В стране, которую посетил теперь Алкивиад, каждый шаг многозначителен для грека. Куда ни обращался его взгляд, все пробуждало здесь великие воспоминания. Мыс Акциум, где бились Антоний и Октавий Август, был недалеко. С горестью вспомнил Алкивиад о том, что эти грозные римляне были учениками древних греков и что орлы римские разносили когда-то греческий ум и греческий вкус во все края света. Почти содрогаясь от гордости и горя, вспомнил он один лишь случай из жизни греко-римского Мира. Он вспомнил, как гонец принес парфянскому царю голову Красса, разбитого Суреной, и застал своего царя вместе с царем армянским за ужином.

Оба царя любовались на актеров, которые представляли в эту минуту трагедию Эврипида. Гонец вошел. Раздались вопли торжества. Актеры умолкли. И голова старого римского полководца пала к ногам восточных царей.

В диких горах Армении цари наслаждались тогда Эврипидом! А теперь?..

Не в Акарнании, как пророчил ему Астропидес, а здесь предстала ему тень Чайльд-Гарольда.

«О, прекрасная Греция! плачевный обломок древней славы! Тебя нет, и, однако, ты вечно бессмертна!

Кто будет ныне вождем твоих сынов, рассеянных по лицу земли? Кто изменит привычки столь долгого рабства?

Сердце тоскует по родине, когда нежные узы соединяют его с родительским кровом, сердце живет счастливо у домашнего очага... Но вы, одинокие странники, посетите Грецию и бросьте взгляд на страну столь же грустную, как и вы сами. Греция не внушит вам веселых мыслей!

Посетите эту священную страну, эти волшебные пустыни! Но щадите эти обломки;

пусть рука ваша чтит этот край, и без того ограбленный многими!»

Продолжая размышлять и мечтать, Алкивиад приблизился к той развалине, которую зовут баней Клеопатры. Название это, конечно, не верно, ибо Никополь (город победы) был построен Августом и назван им так после гибели Антония и Клеопатры. Здание это не велико, и развалины его не имеют ни величия, ни изящества. Есть простые турецкие бани, которые гораздо больше и красивее. Алкивиад мало знал археологию и думал обо всем этом как простой путешественник. Он присел отдохнуть в тени этой развалины и только в ту минуту заметил, что неподалеку от него, около разрушенных ворот, стоят два оседланные мула. Слуга доктора разговаривал, сидя на траве в тени, с другим мальчиком в простой албанской одежде. Немного подалее стояли пред стеной два монаха; один из них, седой, показывал что-то руками, а другой, черноволосый, еще молодой и очень стройный, записывал в книжку карандашом.

Алкивиад подошел к ним, и они познакомились. Седой монах сказал, что он игумен

одного из монастырей около Рапезы, а молодой, которого выразительное лицо сразу понравилось Алкивиаду, назывался отцом Парфением и был в этой стороне проездом из Македонии.

Окончив свой осмотр, монахи предложили Алкивиаду разделить с ними завтрак в тени развалин.

Алкивиад согласился с радостью, слуги принесли сыр, хлеб, хорошее вино и апельсины, и скоро разговор оживился.

Седой монах, отец Козьма, казался стариком простодушным, но отец Парфений был крайне осторожен и тонок. При всей живости своей и свободе обращения, полной достоинства, он старался больше выпрашивать Алкивиада, чем отвечать ему. Об одном только он говорил про себя охотно: о своих археологических занятиях. Заметки его были очень интересны, но Алкивиаду хотелось иного, и он прямо сознался, что «новости предпочитает древностям».

– Имеют и древности свой вкус, – улыбаясь отвечал отец Парфений, – особенно, когда настоящее не занимательно, а будущее темно.

– Будущее хоть и темно, однако всегда занимательно, – возразил Алкивиад, – особенно для народа, который не имеет настоящего.

– Что-нибудь одно, – сказал монах (и все с улыбкой), – если народ существует, он не может быть без настоящего... если же у известного общества людей нет народного настоящего, в каком бы то ни было проявлении, то нет, значит, и народа... А будущее известно лишь Творцу вселенной. Не так разве?

Улыбки отца Парфения казались Алкивиаду насмешливыми, и речь его, ясная по смыслу, но темная по намерению, раздражала любопытство и самолюбие... Алкивиад дал себе слово, что заставит монаха высказаться откровеннее. Он видел, что пред ним не простой поп, а человек просвещенный и, казалось ему, необычайно даровитый.

– Я настоящим для народа не зову жалкое прозябание под игом! – воскликнул он.

– Кто же прозябает и под каким игом? – спросил отец Парфений. – Если вы говорите о турецком правительстве, то я не знаю, можно ли назвать игом власть, которая в последнее время сделала столько успехов и которая уже

почти сравнила всех своих подданных в правах. Не пора ли оставить эти слова без смысла и содержания, взглянуть на дело взором чистой логики и назвать, как говорится – корыто корытом, а смокву смоквой, а не камнем или еще чем-нибудь иным?.. Не пора разве?

– Я не понимаю, что вы хотите этим сказать, – ответил Алкивиад. – Я понимаю одну и очень простую вещь, вот она: Эпир, Фессалия, все острова, Константинополь и Македония, по крайней мере, должны принадлежать грекам.

– Простая мысль! поистине простая! – воскликнул отец Парфений и засмеялся громко.

Потом прибавил еще:

– И Фракия, и Фракия, если позволят обстоятельства.

Отец Парфений встал и, обратясь к старому игумену, спросил:

– Что вы, старче, о чем мыслите?

– Силы нет, силы! – отвечал старик, вздыхая.

– А охота есть? – спросил отец Парфений.

– Как не быть охоты веру свою в торжестве и силе видеть, – сказал старик.



– Греческая только эта вера, старче, или есть и еще православные? Нет ли каких еще сербов или татар ногайских крещеных в нашу святую веру?..

– Есть! Как же? одна Россия считает ныне более 70-ти слишком миллионов... Господь Бог простер благодать Свою над православною державой. Как же, как же! Есть много православных на свете...

Отец Парфений на это ничего не ответил и опять спросил, смеясь, у игумена:

– Так охота есть, старче? Силы нет? Так ли?

– Так, конечно так.

– Тихие воды опасны и бездонны, старче! Ты тихий и опасный человек; но я тебе скажу, что и охоты иметь не следует, той охоты, о которой ты говоришь...

– Бог даст! Бог все даст! – кротко заметил на это старичок, и монахи, простясь с Алкивиадом, уехали.

Молодой Аспреас, размышляя, шагом тоже вернулся в город. Отец Парфений показался ему очень занимательным, и он желал бы опять встретиться с ним.

Доктора не было еще дома, когда он воз-

вратился, и ему пришлось беседовать с докторшей.

Что было с ней говорить! Она была со всем согласна, и если и возражала, то так нестерпимо и до того уж просто, что Алкивиад чуть не возненавидел ее...

Всякому немного новому слову она удивлялась; шутка почти пугала ее; похвала чему-нибудь местному возбуждала в ней очень глупый смех.

Когда, например, Алкивиад, на вопрос докторши, не устал ли он от прогулки в Никополь, сказал ей смеясь, что такой побродяга, как он, не может легко устать, докторша испугалась и воскликнула: «Ба, ба, ба! Что вы говорите! Как может молодой человек такой хорошей фамилии быть побродягой! Это только простые сельские люди, варвары, не устают!»

– Хорошо, пусть буду и я варвар! – шутя ответил Алкивиад.

Докторша еще больше растерялась и закричала пронзительно.

– Ба, ба, ба! Может ли молодой человек, воспитанный в европейских городах и благородной семьи, быть варваром!

«Какая глупая, безвкусная женщина!» – подумал Аспреас.

Случилось ему заметить, что белая чалма турецкого духовенства придает много и красоты и величия лицу. Докторша засмеялась и сказала:

– Это вы шутите! Разве чалма может быть красива? Сказано – турецкая вещь!

– Отчего же? Мы не за безобразие браним турок, а за другое, – возразил Алкивиад, пробуя хоть как-нибудь пробудить искру мысли или вкуса в этой женщине...

– Это правда! – сказала докторша.

Помолчав немного, она сама решилась предложить гостю один вопрос... Вопрос этот давно пожирал ее душу; предложить его она считала (как и все ее соотечественницы) долгом вежливости, долгом хорошего воспитания и просвещенного ума. Но живость Алкивиада и его странная (в глазах эфирской дамы) манера, – без всяких вопросов о здоровье и замечок о погоде начинать, взойдя в комнату, шумно и скоро говорить о чем попало, – сбивала ее совсем с толку. Наконец она выбрала минуту и спросила:

– Как вам нравится наше место?

– Городок ваш имеет очень приветливый и веселый вид, – сказал Алкивиад.

– Это происходит от вашей доброты! – ответила докторша. – Такой ответ обязателен, когда дело идет о похвале чему-нибудь близкому нам... Доброта, значит, ваша делает вас снисходительным к недостаткам людей и страны.

Алкивиад, наконец, с досадой спросил ее:

– Скажите мне, я вас прошу: отчего женщины здесь так не развиты и не смелы?

– Турция! – сказала хозяйка.

– Извините меня! – воскликнул с сердцем гость. – Чем же турки виноваты, что наши женщины не развиты... В эти дела они не мешаются.

– Так у нас уже исстари ведется. Школ также для девиц мало... Одна школа девичья у нас есть в Превезе. Ее поддерживает русская Государыня!

Алкивиад прекратил разговор, запел итальянскую арию и вышел на балкон.

Море было спокойно; флаги консульств и турецкий на крепости веяли тихо. С какою

тоской взглянул молодой патриот на голубой крест греческого флага, который колебался ближе всех к балкону доктора.

«Бедный родимый флаг! Когда бы цвета твои, белый и голубой – символ чистоты и постоянства – красили точно душу эллинов! Когда бы все патриоты наши, от Кипра до Балкан, были так чисты и бескорыстны в желаниях своих, как чист и бескорыстен я в своих мечтах... Да, я люблю мою родину лишь для нее самой, для ее величия и славы... Величие и слава! Несчастный народ! К кому прикнешь ты в будущем? На чью бескорыстную помощь ты можешь надеяться? Слабое племя в четыре миллиона – что будешь значить ты при всей тонкости ума твоего, при всей безумной отваге твоих сынов, при всем их трудолюбии, когда вокруг тебя теснятся и растут великие царства? И, если один какой-либо из великих народов Европы протянет нам братскую руку, будет ли это страх и сознание нашей греческой силы? Нет! Это будет милость льва, а не самобытное величие и слава эллинского народа, себе лишь одному обязанного, собой живущего, гордого и опасного

всем другим!»»

## VIII

Собираясь в Рапезу, Алкивиад надеялся увидеть еще раз отца Парфения; он спрашивал о нем доктора, но тот не встречал его и не слышал даже его имени.

Перед отъездом доктор свел его еще раз к паше.

Мутесариф в этот день был весел. Он принял их радушно, говорил Алкивиаду ты и много смеялся.

– Мы тебя женим в Эпире! – сказал паша. – Э, доктор, женим его?

– Постараемся, постараемся.

– Я уж для твоего хатыра, сын мой, – сказал паша, – и глаза закрою на то, что ты греческий подданный. Если возьмешь девушку райя, я ничего не скажу! Веди ее со всеми комплиментами по улице и с музыкой, я твоего тестя в тюрьму не посажу. А ведь девицы, я думаю, доктор, ваши на такого красивого паликара все смотрят сквозь щелки; как идет он по улице, теперь все бегут к окнам.

– В Рапезе есть для него невесты, – сказал доктор. – Лишь бы взял.

Паша потрепал по плечу Алкивиада и даже погладил рукой его свежие щеки. Алкивиад краснел, но не сердился. Ему казались эти ласки скорее забавными, чем оскорбительными.

Они просидели у паши долго и не без пользы. Алкивиад узнал многое об албанцах, с духом их еще Астрапидес советовал ему познакомиться ближе.

Расхваливая наружность Алкивиада, паша заметил, что маленькие уши издавна считаются признаком хорошего рода.

Доктор, желая польстить хозяину, сказал Алкивиаду:

– Вот и наш паша из большого очага, один из первых домов Албании; он в этих приметах должен быть знаток.

– Что значит, брат, нынче большой очаг Албании! – воскликнул паша. – Аристократия наша не имеет прежней силы.

– Однако! – сказал доктор.

– Не говори ничего! – возразил паша. – В Стамбуле есть великие головы! Кто думает, что теперь то, что прежде было, тот осел! Послушай меня. Точно, было время, мы, албан-



ские беи, приказывали туркам цареградским, и они боялись их. Хотели беи бунтовать, бунтовал и народ. Молодцов и теперь у нас, друг мой, много, да молодцы эти в царском войске служат. К порядку привыкают... Беев наших тоже разместили хорошо. Говорю я тебе, ты меня послушай, в Стамбуле умные головы есть. Смотри, я мутесариф здесь; в Рапезе каймакам – албанский бей. В Берате мутесариф из нашего большого очага. Жалованье большое; почет большой; власть большая, ты знаешь. Кто же нам скажет: «тревожьтесь, заводите смуты!» А кто и скажет, мы тому ответим: пусть голова твоя, осел, высохнет, мне и так хорошо! А народ без нас, ты сам знаешь, что? Теперь времена такие, что двое заптие, которых начальство пошлет, Целую деревню арнаутов как овец пригонят сюда на расправу. И хорошо, друг мой, думают в Константинополе! Азбуки у нас нет; турецкими буквами хотят нынче албанские слова писать, чтоб учить нас. Благо разумно это, эффенди мой, очень благо разумно! Веру, ты скажешь, мы прежде не знали хорошо. И я скажу тебе: правда это, друг мой, но погляди!.. Имин-бей

своих детей в Стамбуле обучил; Нурредин-бей ходжу ученого в дом взял; – тот взял ходжу, другой к ходже сына шлет... Веру узнают люди. Вот тебе об Албании мое дружеское слово!

– И у гегов в северной Албании так? – спросил Алкивиад.

– О гехах, сын мой, я мало знаю, – отвечал Изет-паша. – Я говорю про здешних, а там что делается, знает Бог да падишах с Аали-пашой... Нам до этого и дела нет...

– Что ж! – заметил доктор. – Это хорошо; это обеспечивает спокойствие империи. – Надо, чтобы все довольны были, тогда все пойдет к наилучшему.

– Все, друг мой, довольны быть не могут. На недовольных и сила у султана есть...

Алкивиад вынужден был слушать все эти горькие вещи скрепя сердце.

Глаза Изет-паши смотрели на него зорко...

На прощанье паша опять, забыв государственные вопросы, поласкал юношу, пошутил с ним и пожалел, что скоро Байрам, а то бы он дал ему заптие проводить его до Рапезы.

– А то видишь, сын мой, жалко людей для

праздника в путь отправлять. Ведь и они люди.

Алкивиад благодарил и сказал, что он и один доедет.

– Разбойников не боишься? – отечески спросил паша. Алкивиад покраснел и сказал:

– По крайней мере, как элин, я не должен никого, даже больших, чем разбойники, бояться!

– Молодец! Люблю молодцов! – воскликнул паша. – И то сказать: ведь вы там с разбойниками в Элладе хорошо живете. Привыкли – свои люди...

– Свои и для своих, хоть и разбойники, а все лучше чужих, ваше превосходительство, – заметил Алкивиад...

Лицо паши омрачилось, и он угрюмо сказал: – Э! Добрый час! Добрый час вам!

Гости ушли.

За первым же углом доктор осмотрелся и сказал Алкивиаду вполголоса:

– Какова лукавая тварь? С величайшею простотой-с... А?

– Да, – отвечал, вздыхая, Алкивиад. – Печально это слышать, если только это верно.

– Верно, ясно как свет солнца, – продолжал доктор. – Южные албанцы входят постепенно более и более в поток турецких вод, и одна лишь сила оружия, – удача христиан на поле брани, удача, друг мой, которая могла бы отрезать жителей южной Албании от военных подкреплений из Битолии, Константинополя и т. д. И разве, при этом скажем, верные обещания самобытности могли бы обратить их, дать иное направление их идеям, если можно назвать идеями жалкие подобия мыслей, которые могут пробегать по этим варварским мозгам... Таково мое скромное, посильное мнение, друг мой. Я человек не политический; сужу по мере сил моих и не позволю никогда моим патриотическим чувствам и надеждам ослепить мой разум...

– Это грустно, – сказал Алкивиад, и они оба молча возвратились домой.

На следующий день Алкивиад и Тодори уехали. Доктор достал для Алкивиада хорошую лодку до места, которое зовется Салогоры; от Салогор же до Рапезы они должны были ехать верхом. Докторша припасла им на дорогу пирог, жареного барашка и две бутыл-

КИ ВИНА.

# IX

Зимний день, в который Алкивиад Аспреас выехал из Превезы в Салогору, был тих, и широкий залив стоял зеркалом. Гребцы гребли хорошо. Алкивиаду было весело, и он вступил в разговоры со слугой г. Парасхо. Они говорили долго о турках, о разбойниках, о том, как живет народ. Алкивиад и в словах слуги этого нашел много поучительного. Тодори был сулиот и не уважал ремесленников: разбойники в его глазах были лучше.

– Разбой нельзя уничтожить, – сказал он. – Разбойники эти благословенны Богом. Бандиты[15] городские Богом не благословенны; поспорится один бандит с другим и убьет, это великий грех. А разбойник действует по правде; он захватит богатого купца или бея и потребует выкуп. Зачем же родным не дать выкупа? А разбойники всегда должны на церкви, на монастыри или на школы, или на бедных часть денег своих отдавать. Они так и делают. Разбой благословение Божие имеет, и гораздо лучше христианину хорошему быть разбойником, чем хоть бы столяром, потому что сто-

ляры Христом прокляты. А проклял Христос столяра за то, что однажды шел Христос, встретил столяра и спросил его: «Что ты несешь в своем фартуке?» Столяр нес деньги и солгал, сказав: «Опилки несу». – «Носи же ты всегда опилки и богат никогда не будь». Прокляты также пастухи коровьи. Посмотрите на пастуха овечьего, как он покоен! А коровий пастух никогда не спокоен; коровы бегают туда и сюда, и он бегают за ними и собирает их. Прежде ему было лучше, прежде коровы паслись смирно, а пастух сидел на стуле и на свирели играл. Попросил Христос напиток у коровьего пастуха: не дал ему тот воды, и наказал его Бог; а разбойника, когда был распят со Христом, благословил Бог, сказав ему: «Ты благословен Мною», за то, что разбойник спрятал гвоздь, который евреи хотели в сердце Христу вбить, и евреи не могли его найти.

Кончив свой рассказ, Тодори обратился к гребцам и спросил у них:

– Правду я говорю, дети?

– Правду! – отвечали гребцы.

– Не Божье благословение спасает разбойников, Тодори, – сказал Алкивиад, – а нераде-

ние турок и наши эллинские несогласия.

– Турки! Что могут турки сделать! Турки ничего не сделают... Турция пропала и совсем погибнет скоро.

– Ты думаешь? – спросил Алкивиад. – А я думаю, что теперь турки поправились и гордые стали после того, как критские дела кончились. Положим, что их франк держит, однако, все-таки нам теперь труднее стало.

– Нет! – воскликнул Тодори. – Сколько они ни гордись, а вся сила Турции к русским после Крымской войны перешла. Разве вы не знаете, что русские с ними сделали. Приехал в Константинополь Великий Князь Константин, нашей Ольги отец, и привез султану в подарок богатые часы, с четырьмя золотыми минаретами по углам. Султан очень обрадовался и не знал, как отдарить его. Призвал патриарха и спросил: скажи мне, старче, что дать в подарок Великому Князю? Патриарх сказал: есть древний крест, зарытый в землю. Дайте ему этот крест, и как он одной веры с нами, ему это будет приятно. Велел отрыть султан крест и отдал Константину. Великий Князь, как только взял крест, так сейчас сел



на паролод и уехал. Сказали султану, что с крестом этим и вся сила Турции уйдет; испугался он и послал догонять Князя и просить назад крест, что это по ошибке дали. Да где уж! Что? разве русские своей выгоды не знают? Князь не отдал креста, и с тех пор, что ни сделает Турция, все не к добру, а к худу ее ведет. Так и пропасть ей, анафемской, скоро!

Не желая разрушать веру людей в слабость Турции, Алкивиад сказал:

– Это правда, я и сам слышал об этом. Только разбойники Богом не благословенны, это, Тодори, неправда!

– Это верно, – сказал Тодори.

Долго еще они разговаривали; Алкивиад расспрашивал его еще о семье своего дяди Ламприди, о Салаяни и Дэли.

Господина Ламприди, жену его и всю семью их Тодори очень хвалил; но смеялся только одному, что господин Ламприди боится Салаяни и по делам своим даже никогда теперь в свои чифтлики ни сам не ездит, ни сыновей не посылает. И прежде боялся, а теперь Салаяни погрозился, что он его в самом городе схватит.

– За что-то сердится на него Салаяни, – сказал Тодори.

Алкивиад знал, за что Салаяни сердит на его дядю.

Веселый и интересный разговор, однако, продолжался не слишком долго. Море стало волноваться; загредел зимний гром. Дождь полился рекой, и сами гребцы сознались, что есть опасность. Лодка была мала; парус сняли, чтобы ее не опрокинуло, и на одних веслах боролись долго с волнами. Темнело все больше и больше; до песчаного берега было близко, но до Салогор ехать было гораздо дальше; тонуть без нужды никому не хотелось, и сообща все решили пристать где придется к низкому берегу.

Лодочники вытащили с большим трудом и по колена в воде лодку на песок, чтоб ее не снесло; и Тодори, и сам Алкивиад помогали им сколько было сил; расплатились, оставили их одних на берегу и пошли пешком. Алкивиад с радостью узнал, что всего на один час с небольшим ходьбы от берега стоит монастырь, в котором игуменом тот старый и добрый монах, которого он видел вместе с от-

цом Парфением на развалинах Никополя.

Алкивиад и Тодори, вышедши на берег, долго шли по грязи и с большим трудом отыскали дорогу в монастырь. Гроза скоро прекратилась; но дождик продолжал идти, и ночь приближалась.

Несколько раз Алкивиад останавливался вздохнуть и садился на камни. Тодори заботился о нем и подстилал ему всякий раз свою бурку, чтобы он не простудился, сидя на камнях.

Так, отдыхая и опять пускаясь в путь, прошли они около часу; до монастыря было уже недалеко.

Людей они долго не встречали. Только не доходя получаса до монастыря, поравнялся с ними один поселянин в бурке. На голове его был надет башлык от дождя.

– Добрый час! – сказал он. Путники поблагодарили его.

– Куда идете? в Рапезу? – спросил поселянин.

– Пока в монастырь; а там завтра в Рапезу, – сказал Тодори. – А вы куда?

– Я тут поблизости в селе был.

Тодори нагнулся и, всмотревшись в лицо поселянина, сказал ему смеясь:

– Я вас не узнал. Давно не видались. Ну, как проводите время?

– Как проводить! – отвечал со вздохом поселянин, – какую жизнь мы влачим – сам знаешь!

– Жизнь тяжелая! – согласился и Тодори. Прошли еще немного молча.

– Все дожди, – сказал поселянин.

– Дожди ничего в такое время, – отвечал Тодори, – не было бы мороза. Простоит мороз, все лимоны и апельсины пропадут.

– Это правда, апельсины пропадут; а лимоны еще нежнее. Лимоны от холода скорее апельсинов пропадают, – заметил поселянин.

Монастырь был уже близко, и из одного окна через стены светился приветливый огонь. Поселянин простился с Тодори.

– Не зайдете к игумену? – спросил его Тодори. – Я думаю, теперь у него нет народу.

– Не могу, пора домой, в село... – отвечал поселянин, еще раз пожелал Алкивиаду «доброго часа» и удалился.

Когда он исчез в темноте, Тодори тихо ска-

зал Алкивиаду:

– А знаете кто это? Это разбойник Салаяни.

Алкивиад, несмотря на всю свою смелость, немного испугался.

Хорошо сказал паша: «в Элладе разбойники «свои люди», знаешь их обычаи, их дух, знаешь и местность»... Иное дело видеть Дэли в доме Астрапидеса; иное дело стоять здесь, в Турции, ночью, в грязи, под дождем и без оружия и знать, что Салаяни недоволен им. Разве он не может вернуться чрез полчаса с десятком товарищей и осадить монастырь? Он бы мог спросить об этом у Тодори, но стыдился обнаружить пред ним свой страх.

Тодори был не только спокоен, он даже повеселел от встречи с разбойником и смеясь сказал Алкивиаду:

– Постращать надо старичка игумена, что Салаяни кругом монастыря ходит. Салаяни на него сердит. С месяц тому назад пришел он с двумя людьми вечером к монастырским стенам и стал звать игумена. Подошел игумен к окну, а Салаяни снизу кричит ему: «Дай, старче, десять лир турецких, на целый год тебе покой будет от нас». Игумен не испугался, по-

тому что стены высоки и народу у него тогда собралось в монастыре к празднику человек пять-шесть. «Не дам», – говорит. – «И ночевать не пустишь, старче?» – «Не буду я вас укрывать никогда. Добрый час вам! Тащитесь своей дорогой». Вот Салаяни и ушел. С тех пор, говорят, в чортов список игумена записал. Постращаем старичка.

На стук наших усталых путников в ворота долго не отвечал никто. Только собаки лаяли и рвались им навстречу.

После долгих расспросов: «Кто вы?» «Что хотите?» «Какие вы люди?» служка монастырский отворил им дверь, и сам игумен-старичок с радостью повел Алкивиада наверх. Сейчас в большой комнате затопили очаг; сняли с Алкивиада грязные сапоги, принесли ему туфли, и он с радостью лег на широкий турецкий диван, у самого огня. Игумен долго бегал везде сам, доставал варенье, смотрел, чтобы скорее варили кофе для гостей, и Алкивиад оставался долго один, размышляя о Салаяни и спрашивая себя: «Зачем же он ему не открылся? Вероятно, он сердился на него за то, что Алкивиад не сумел выхлопотать ему от дяди

прощение».

Наконец, пользуясь тем, что игумен на минуту присел около него, он рассказал ему свою встречу с разбойником под стенами монастыря, не показывая, разумеется вида, что он виделся с ним прежде в Акарнании.

– Тодори его узнал, – сказал Алкивиад.

Игумен, вздохнув, воскликнул с негодованием:

– Великая язва, кир-Алкивиад, для нас этот разбой. Все хуже и хуже. Ни за овцу, ни за осла (извините!)[16], ни за свою собственную жизнь человек не спокоен... Не смотрит правительство наше как следует; генерал-губернатор новый хорош, умный человек и деятельный, но сказано, что одна кукушка еще не весна... Бедный, и он не поспекает везде. Этот изверг Салаяни бич Господень на человечество. Великий злодей и бесчеловечен он, государь мой, хищный зверь во образе человека! Знавал я в мою долгую жизнь многих разбойников; но у многих была хоть какая-нибудь совесть. Вот был прежде Шемо, его поймал Хусни-паша и казнил. Этот Шемо от добычи уделял на церкви, на школы, на

монастыри; к бедным был щедр. А у Салаяни ничего нет священного. Хищный зверь во образе человека. И давно бы ему погибнуть, если б от страха, а иные от собственного варварства, не спасали его крестьяне... Они одни могут предать его в руки власти... А вали сам по себе его не поймает... Это верно!

Алкивиад потом стал спрашивать игумена о его собственном образе жизни и о том, чем держится монастырь.

Старик рассказал ему, что монастырь получает от стад и небольших посевов около 15 000 пиастров в год. Имеет сверх того старинную грамоту, века два тому назад данную Россией, и от времени до времени получает из Петербурга небольшую сумму. Были из Валахии прежде доходы «преклоненных» монастырей, да бесчеловечный Куза, «да будет он во веки проклят», посягнул на эту собственность, и одна надежда наша и есть лишь на Россию, которая, Бог даст, отстоит хоть что-либо для бедных греков.

– Все-таки есть доходы и теперь: вероятно, есть и приношения, – сказал Алкивиад.

– Половину дохода отдаем на соседние



школы, – отвечал игумен. – А приношения? Какие у нас приношения? Благочестия нынче нет, государь мой! Денег в монастырь не несут люди... Это не то, что в России! Там видите вы и благочестие. Я ездил в Россию и видел благоденствие этого края! Там существует благочестие. И стоит русский в церкви иначе, чем стоит грек... Видел я и посланника русского в Афинах, видел, как он стоит в церкви и как наши эллинские министры стоят. Иначе стоит русский посланник, иначе стоит наш министр. Когда бы вы могли видеть благолепие храмов и богатство монастырей в России! Словом, иное устройство. У нас здесь, видите, все по одному игумену в каждом монастыре, и редко где два-три человека есть. А там монастыри многолюдны, и не могу изобразить вам отраду для православного человека, когда видит он этот неизмеримый край, который Бог сохранил для нашего спасения... Поверьте мне, даже земля там иная: у нас, в Турции, все горы и камень, как проклятие какое-нибудь над этим диким местом! А там и месяц едешь, ни одной горы не увидишь...

– А болгарский вопрос? – спросил Алкиви-

ад.

Игумен рассмеялся и встал, говоря:

– А вот я посмотрю, если не спит отец Парфений, он о болгарском вопросе говорит иначе... Он ведь болгарин, вы это знаете!

Алкивиад очень обрадовался что занимательный отец Парфений здесь, и дремота, которая начала было одолевать с дороги и отчасти от скуки с простодушным игуменом, пропала вовсе, и он желал теперь только одного, чтоб отец Парфений пришел.

С игуменом, Алкивиад полагал, и спорить не стоило, он, как отец, скажет: «мы греко-российской церкви поклоняемся, сын мой!» Отец Парфений был иное, и так как теперь открылось, что он болгарин, то еще занимательнее. Настоящих болгар Алкивиад встречал очень редко, и ни с одним из них не случалось ему коротко знакомиться. Он знал только несколько студентов из Македонии, которые учились в Афинах, но в Афинах они казались самыми пылкими греками, и лишь позднее с большим удивлением и горестью узнавал разными путями, что многие из них вернулись в болгарские страны и из пылких

греков стали иступленными болгарами. Неблагодарно (по мнению Алкивиада) и не благородно употребляют против эллинизма те силы, которые дала им эллинская образованность.

«Посмотрим, что скажет он про болгарский вопрос!» – думал Алкивиад и с нетерпением стал даже ходить по комнате.

Отец Парфений не спал: он и сам хотел прийти побеседовать с нечаянным гостем монастыря, но боялся обременить его, усталого от трудного пути.

Когда отец Парфений вошел, Алкивиад первым делом поцеловал его руку, чтобы снискать благосклонность умного монаха и из другого деликатного чувства... так как отец Парфений был болгарин.

Молодой монах, казалось, был тронут этим вниманием; он поцеловал Алкивиада и не скрывал, что тоже очень рад его видеть.

Сидя около камина, они долго улыбались приветливо друг другу и расспрашивали друг друга о ничтожных предметах.

Мало-помалу Алкивиад добился своего: он заставил отца Парфения говорить о болгар-

ском вопросе и о греках.

– Я не знал, поверьте мне, что вы болгарин, – сказал ему Алкивиад. – По лицу вашему, столь оживленному и, простите мне этот комплимент, столь красивому – я думал, что вы грек.

Отец Парфений засмеялся и отвечал:

– Комплимент ваш был бы выгоден для меня, если б я был мирянин. А теперь он имеет более оскорбительное для болгарства, чем приятное для меня значение. Неужели вы думаете, что все болгары похожи на готтентов или на каких-либо зверей? А я вам на это скажу, что не знай я, что вы грек, я вас бы принял за южного славянина. У вас в физиономии нечто сладкое и кроткое, чего нет у большинства ваших соотчичей... Лицо есть зеркало души. Болгарин добр и прост; грек лукав и жесток.

Алкивиад и на это отвечал в том же духе.

– Колко для народности, любезно для лица. Признаюсь, если все болгары простодушны, как вы, так для нас пропала не только Фракия, но даже и Македония! Одна моя надежда, что таких, как вы, немного везде.

– А тем более у бедных болгар! – воскликнул отец Парфений. – Хорошо, пусть будет по-вашему: принимаю ваши похвалы мне в ущерб моему народу... Надежда нашего бедного, угнетенного народа на слова Спасителя: «Первые будут последними и последние будут первыми»!

Так завязался разговор о болгарском вопросе. Молодые люди, монах и политик, спорили за полночь. Игумен ушел гораздо раньше, и давно уже в монастыре спали, когда они простились и разошлись.

Спор вышел такого рода, что Алкивиад, союзник Турции, был вынужден нападать на нее, а отец Парфений защищал и Порту и даже турецкую нацию. Алкивиад раз или два даже склонялся в пользу России (диалектическая ловкость монаха довела его до этого), а славянин, не относясь к России с явной враждой, жалел, однако, и осуждал русских за их излишнее потворство патриархии. Монаху приходилось не раз отстаивать народность против церкви, деисту же и политику-демагогу – защищать церковь против народных посягательств.

Вопрос этот Алкивиад знал, конечно, хуже монаха, и отец Парфений старался долго и напрасно доказывать ему, что Россия поддерживает скорее патриарха, чем болгар.

На этом они расстались.

На другое утро Алкивиад и Тодори выехали на монастырских лошадях по дороге в Рапезу. Вчерашние облака рассеялись, солнце грело, и игумен с отцом Парфением провожали их больше часа. Присели проститься и отдохнуть; игумен выложил на коврик хлеб и хороший сыр для гостя; выпили и вина за здоровье друг друга;

Тодори тут же развел огонь и сварил на нем кофе. Отец Парфений дружески глядел на Алкивиада и наконец сказал ему:

– Пока вы роскошно не жились до позднего часа, как истинный афинянин, я, как монах и человек сельский, встал рано, вышел за ограду монастырскую, сел на камень и долго думал о вас. Думал я, думал и нашел для вас притчу одну. Ее-то я вам хочу сказать на прощанье, чтобы вы вспомнили мою толстую болгарскую голову с добрым чувством. Вот моя притча. Назову я ее притчей о неблагора-

зумном земледельце. Неблагоразумный земледелец этот жил у подошвы крутой и большой горы. Гора эта была на север и запад от его жилища, а на восток и юг простиралось широкое мало возделанное поле; на этом поле владели предки земледельца землями целые века, и обломки домов их видны там до сих пор. Но селянин не глядел никогда на это поле, взоры его обращались на скромные виноградники, которые в поте лица возделывали по склону горы его северные соседи, столь же бедные, как и он, или еще более бедные. Он начал с ними долгую и несправедливую тяжбу на тех лишь доводах, что прадед его захватил когда-то силой эти земли горные и держал их всего двадцать лет. Было это очень давно, и держал этот человек виноградники, скажу вам, примерно, от 1020 года до 1040 года не больше. Тогда винодельцы были сильнее и прогнали его. Теперь они бедны и слабы. Но на вершине горы стоит высокий дворец богатого бей, которому бедные виноградари эти близкие родные. Не все их требования исполняет бей так, как бы они хотели, и дружба его дома с домом неразумного паха-

ря – дружба древняя. Не знает, однако, и бей иногда, что делать и с бедными родственниками, и с неразумным пахарем, которого он также жалеет и любит. Трудно бею, трудно и пахарю, трудно и винодельцам бедным. Тяжба разоряет их; и враги их общие празднуют радостный праздник, видя раздоры их. Так идет дело Давно, и никто не сказал еще пахарю: «Неразумный и злой пахарь! Если твоя запашка тебе кажется малою, брось взоры свои на широкое восточное поле, где видны следы твоих великих предков, поросшие мхом и тернием, и протяни братскую руку и бею могучему, и родным его бедным! Не взойти тебе и на полгоры, беззаконно-неразумный и жестокий пахарь». Вот моя притча! – сказал, вставая, отец Парфений и обнял Алкивиада.

Алкивиаду нетрудно было понять ее. Он догадался, что пахарь неразумный не кто иной, как грек, а бедные родственники богатого бея – южные славяне, соседние греки. А кто бей богатый – это также было ясно.



# Х

Около полудня, в первый день Байрама, путники выехали в Рапезу.

Алкивиад полюбовался на древний турецкий мост через реку, которая шумно бежала по камням, переполнившись от вчерашнего дождя... Экипажам, если б они были в стране, было бы трудно проезжать по его каменным уступам; но вид его был величав и прочен.

Про этот мост сложена народом краткая песня о временах побоищ под стенами Рапезы:

Три птички малые сидят на старом мосте: Одна глядит на Янину, другая смотрит к Пете, А третья, меньше всех, щебечет речь такую: «Ах, не найдется ли один хоть христианин, чтоб в Пету весть подать».

Туретчины собралось множество, чтобы напасть на Пету; Сам Целиос[17] вперед идет, за ним идут низамы... И караулы все кричат»...

За мостом начались по обе стороны большие апельсинные сады, загороженные от дороги высокими стенами тростника.

На базаре много было народу; христиане и евреи торговали. Турки, нарядные для Байрама, сидели в кофейнях и у знакомых в лавках; на первом же углу несколько албанцев, худых, усатых и воинственных, в богато расши-  
тых золотом куртках, неприязненно погляде-  
ли на Алкивиада, не дали дороги его лошади,  
и когда он объехал их осторожно, воскликну-  
ли громко:

– Еще один франк! Кто он такой и откуда?  
Толпа турецких мальчишек и девочек, услы-  
шав эти слова, побежали за ними с криками:

– Франко-маранко! Франко-маранко! Отку-  
да ты, франко-маранко?!

Алкивиад и Тодори ехали молча. Алкивиад  
пожирал свою досаду, думая, что все окружа-  
ющие смеются над ним вместе с детьми.

– Молчать! – закричал на детей один по-  
чтенный седой турок, проходя мимо.

Но дети не послушались его и продолжали  
шуметь и прыгать вокруг лошадей. Наконец  
одна прехорошенькая девочка подняла с мо-  
стовой камень и бросила в лошадь Алкивиа-  
да.

Лошадь испугалась и кинулась в сторону.

Алкивиад был ездок смелый, но не слишком искусный. Он едва усидел на седле и вне себя от гнева обернулся с хлыстом на толпу детей. Турчата и девочки разбежались со смехом и криками.

Тогда один из албанцев загородил дорогу Алкивиаду и спокойно, но со свирепостью во взгляде сказал ему по-гречески:

– Не тронь, они неразумные дети!..

– Дети! – закричал на албанца Тодори, не давая времени Алкивиаду ответить. – Дети, ты говоришь... А зачем большие не учат их разуму?..

– Не кричи на меня, кефир! – воскликнул албанец, хватая Тодори за узду...

Тодори вмиг соскочил с лошади и схватил албанца за грудь... Оба остановились на мгновение, как бы сбираясь с духом... «Кефир!» – шептал албанец. «Собака!» – громко кричал Тодори.

Алкивиад тоже соскочил с лошади; но прежде чем он успел подоспеть к бойцам, их уже окружила целая толпа греков, албанцев, евреев. Алкивиад уже не мог разобрать... Все кричали, ругались, уговаривали... Алкивиад

видел только, что Тодори с албанцем, крепко схватившись, кружились на месте и не могли ничего сделать друг другу, потому что на них уже повисло, чтобы разнять их, пять-шесть человек... Подбежали заптие и стали разгонять народ, угрожая прикладами и поднимая их над головами... Один из них, быть может, разгорячась и по неосторожности, ударил прикладом в плечо Алкивиада... Алкивиад толкнул его сильно в грудь...

– Бери его! – закричал чауш, – на полицию поднимать руку, знаешь за это что... два года тюрьмы тебе, свинья! Бери его!

– Я греческий подданный! – сказал Алкивиад.

– Бери его!

Его схватили за руки... Но в этот миг толпа расступилась сама перед высоким стариком, одетым в мундир с золотым шитьем на груди. С радостью узнал в нем Алкивиад дядю своего капуджи-баши кир-Христаки Ламприди. Он возвращался от каймакама, которому только что сделал официальный визит по поводу Байрама, услышал шум и подошел к толпе... Вмиг все утихло. Заптие молча оставили Ал-

кивиада, как только услышали, что он племянник кир-Христаки; они даже точно виноватые опустили глаза... Албанца с Тодори к тому времени тоже уже розняли, и они оба всклокоченные и потные пожирали лишь искося друг друга глазами, как два сильных пса, которым не удалось утолить свою злобу.

Смущенного и рассерженного Алкивиада кир-Христаки взял под руку, вывел из толпы, и за ним вслед побрел и Тодори, проклиная вполголоса турок. Лошадь игумена была тут, ее поймал под устцы, в ту минуту, когда Алкивиад бросил ее, один из тех самых мальчиков, которые кричали «франко-маранко». Мальчик повел лошадь за ними до кир-Христаки; он уже звал Алкивиада «эффенди» и улыбался ему благодуще.

Кир-Христаки дал мальчику один пиастр за труд, похвалил, приласкал его, назвал дружески «рогачом» и «негодяем» и отпустил домой.

# XI

Через месяц после отъезда Алкивиада из Корфу сестра его получила от него письмо.

«Милая сестра моя (писал он), я влюблен! Позволь мне признаться в этом тебе одной. Я привык смотреть на тебя, как на музу, которая пробуждала в душе моей первые благородные звуки жизни. Или лучше я сравню тебя с нимфой Эгерией, которая учила мудрости Нуму Помпилия. Не ты ли заменила мне мать у колыбели моей? Не ты ли следила за первыми успехами моими в ученье? О, конечно, не маленькая книжка, по которой нас обучали в школе эллинской истории, развила во мне то живое чувство патриотизма, которое мне стало так присуще, без которого я уже не понимаю жизни земной!.. Твои пламенные, черные очи блистали около меня, как путеводные звезды, возвышая мои помыслы! Не ты ли говорила мне: «Помни, Алкивиад, что ты эллин! Провидение недаром сохранило греческий народ под игом варваров... Помни, что и Перикл, и Демосфен, и Сократ, и Леонид Спартанский были такие же люди, как и мы. Если

они умели быть великими на столь тесном поприще, как древне-эллинские республики, не должны отчаиваться и мы...» Не ты ли заботилась о моей будущности? Не ты ли отговорила меня, когда я было хотел посвятить себя медицине, и указала мне на политическое поприще? Не ты ли представила меня королю, куда ты была сама естественно призвана – красотой твоей, улыбкою и образованностью? Позволь же мне мыслить и чувствовать с тобой вслух – по старой привычке... Я влюблен, дорогая моя Афродита! Не скрою от тебя моих колебаний... Я еще не знаю, как влюблен... Настолько ли я влюблен, чтобы связать себя навек... Пусть будущее решит это. Я же не стану больше мучить тебя загадками: я влюблен в нашу родственницу, Аспазию Ламприди. Я тебе скажу, какова она. Что она вдова, ты это помнишь, вероятно. Она, конечно, милая Афродита, не имеет твоего воспитания. Она не блещет даже и поразительною красотой. Она немного болезненна, мала ростом, задумчива, уныла; но иногда, когда какой-то луч жизни пробежит по лицу ее, она становится обворожительна. Мне нравится

также ее природный ум... Мне даже начинает нравиться мрачная вдовья одежда, которую она, по здешнему обычаю, не снимает, несмотря на то, что после смерти ее мужа прошло пять лет. Поверишь ли ты мне, я чувствую иногда ревность к портрету ее покойного мужа, снятому дурным странствующим фотографом. Кажется мне, она это заметила. Вчера она, рассматривая его, спросила у меня: «Не нравится тебе этот портрет?» Я тоже отвечал вопросительно: «Портрет или что-нибудь еще?» Она поняла меня и отвечала с улыбкой: «Как хочешь, это твое дело...» Я все не хотел ответить прямо и спросил еще: «А твое дело в этом какое?» – «Мое? – отвечала она. – Мне нравился и прежде и теперь нравится...» «А мне, – сказал я, – не нравятся здешние богатые молодые люди. Они все очень грубы, боязливы, не умеют жить, не патриоты и кроме карт и разгула ничего не знают!» Она даже не покраснела. Она бела и холодна, как паросский мрамор. О! как бы я желал быть ее Пигмалионом. Прощай; обнимаю тебя. Меня зовут. Я оставляю тебя в изумлении и тревоге за мою участь. Но не бойся – это ненадолго. Я бу-



ду по-прежнему часто писать тебе, и ты, хотя и с волнением участия, но непрерывно будешь следить за бурями и затишьями моего сердца. Я живу не у дяди Христки; я не настолько близкий родственник ему, чтобы прилично было мне жить долго в доме, в котором столько женщин. Я живу у другого нашего родственника и доброго старичка, Фемистокла Парасхо, которого, помнишь, и ты видела однажды в Корфу. Он все тот же...»

## XII

По церковному уставу Алкивиад мог бы жениться на Аспазии; кир-Христаки был троюродный брат его отцу. Но был ли он в нее так влюблен, как писал сестре?.. Ему это казалось... Он прожил больше месяца в Рапезе в приятном бездействии. Страны эти были для него и родина и не родина, в них было для него и все любопытное чужбины, и свое родное, что ни шаг...

Жил он у старика Парасхо спокойно. Старик был молчалив и задумчив; даже в гостях, на улице, он был все уныл, тих; вставал, выкуривал наргиле у очага и шел, хромя, в церковь, если был праздник; если же нигде не было обедни, то он прочитывал что-нибудь из жития святых или из Священного Писания. В городе над ним смеялись и уверяли, что он девственник; турки подозревали его в том, что он будто бы не раз был участником революционных историй; но доказательств не было никаких, и сами турки уважали его честность, его святой образ жизни, его тихое благодушие. Все уважали его; все, однако, шути-

ли с ним и любили его дразнить; кричали ему на улице: «кир-Парасхо! кир-Парасхо! пойдете к Аише! Аише... вас ждет!...» А эта Аише была турчанка, которую знали все... Сами турки смеялись на улице, когда слышали, что кир-Парасхо зовут греки к Аише... Старик стыдился этих шуток, опускал еще ниже глаза, мучился, жалобно щелкал языком, качал головой и шел, хромя, дальше уныло-преуныло, точно будто он горько оплакивал людское бесстыдство. В обществе, в кофейных, в лавке какой-нибудь мужчины нарочно при Парасхо вели нескромные речи, выбирая самые непотребные слова. Терпел, терпел Парасхо, голова его все склонялась ниже на грудь, глаза все больше и больше опускались... наконец он надевал шляпу и выходил вон... все только этого и ждали и начинали хохотать. Он состоял давным-давно драгоманом при греческом великом консульстве, не из выгод каких-нибудь, а для почета и из боязни турок...

Всем консулам своим, которые часто менялись, он был покорен донельзя и грустно твердил молодым людям: «Иерархия! Иерар-

хия! Дисциплина! Иерархия! Дисциплина!» Если консул начинал шутить при нем так, как другие, он говорил только: «г. консул сегодня весел!» и переносил от консула эти разговоры больше чем от других. Хотя он имел очень порядочные средства к жизни и хотя письмо утомляло его глаза и старую голову, но с раннего утра и до захождения солнца, покончив лишь свой наргиле и свои молитвы и христианское чтение, он уходил в греческую канцелярию и исполнял бесплатно всякий труд. Консул был дома, кавасс пропадал, слуги уходили, весь дом мог разбежаться, но Парасхо был там с утра, и всякий знал, что уж его-то он найдет в канцелярии, найдет готовым на всякую помощь и на всякий совет. «Святой человек!» – говорили про него люди простые... «Добрый человек», – снисходительно отзывались о нем люди лукавые и ловкие. «Домовой греческого консульства», – остряла молодежь.

Иногда кир-Парасхо и сам хотел пошутить и говорил собеседникам: «Будемте теперь острить и смеяться. Знаете? я ведь очень остроумен! О! я очень остроумен», – убедительно

утверждал он и начинал рассказывать что-нибудь удивительно, по его мнению, смешное. «Вы послушайте, вы умрете от смеха!» Но, увы! смех, который он возбуждал, относился к нему самому, а уж никак не к рассказам его...

У этого почтенного человека поселился на долго Алкивиад.

Дом Парасхо был уединенный и пустынный, построенный по старинному турецкому образцу, с огромными очагами, маленькими лестницами, множеством дверей, открытыми галереями и полуразрушенной стеной, на которой весной аисты вили гнезда.

Вид из нее был прекрасный на весь город и на гору, усеянную до вершины большими, правильно расположенными серыми холмами, которые издали можно было принять за продолжение города, за домики какого-нибудь предместья. Видны были и апельсинные сады, и немного подалее древний, мрачный, полуразрушенный храм византийской постройки... Нечто мирное и приятно-грустное носилось над этим южным городком, когда Алкивиад глядел на него при зимнем

утреннем тумане...

Обедать Алкивиад почти никогда не обедал дома у Парасхо. Обед у старика был уж слишком плох, не от бедности, а от воздержности хозяина и от его равнодушия к плоти. Алкивиад к полудню всегда уходил к дяде Ламприди, там оставался почти всегда до поздней ночи, уходил гулять с молодыми людьми по кофейным, опять приходил, ездил за город верхом, один скакал около реки и по ущельям, распевая любовные и патриотические песни и смеясь над разбойниками, которые продолжали гнездиться в соседних горах...

Дома у Парасхо, по утрам, продолжал занимать его своими рассказами и рассуждениями сулиот Тодори. Он был чужак и патриот не менее своего господина, только совсем другого рода. Он, например, до приезда Алкивиада ненавидел и презирал аистов; называл их «турецкая птица», не потому только, что турки чтут и жалеют их, но еще и за то, что аист «каждый вечер молится Магомету; как свечереет, он поднимает голову, смотрит на небо и стучит клювом. Постучит, замолчит, опустит

голову и опять поднимет и опять застучит!» Когда настал март месяц и аисты стали слетаться, Тодори несколько раз брался за ружье, чтобы бить тех из них, которые доверчиво начинали уже вить гнезда на стене... Но Алкивиад, которому нравилась «вечерняя молитва» величавой птицы, заступался за нее и своими рассказами о пользе, приносимой аистами, о почете, который оказывают им и во многих не турецких странах, так скоро сумел убедить и смягчить Тодори, что он не только отказался убивать аистов, но и вошел в их семейные интересы. Самец-аист, который выбрал стену Парасхо для своего гнезда, был не силен; шестеро других аистов слетались каждый день сгонять его оттуда: становились рядом с ним в гнездо, клевали его или сталкивали вниз плечом так сильно и скоро, что он не успевал подняться на крыльях и падал вниз. «Постарел, должно быть, сердечный! Вот его молодые и обижают...» Он бросался помогать аисту, поднимал его, отгонял других, стрелял даже по ним холостым зарядом и с радостью, наконец, объявил Алкивиаду, что «старик снес яйца и другие уж не трогают их». Доб-

рая душа Тодори сказалась тотчас же, как только он убедился, что аисты не турецкой веры.

Тодори хотя был еще молод, но знал множество историй про Али-пашу Янинского, про сына его Латхтара и любовницу его Евфросинию, которую он бросил в озеро, про разбойников и турок. Алкивиад сажал его около себя, чтоб он был смелее, и заговаривал с ним. Но Тодори долго не мог сидеть; он оживлялся скоро, начинал бегать по комнате, прыгать то вперед, то назад, изображая то наступление, то побег, то гнев, то ужас...

Забавно донельзя визжал «уююй-уююй!», представляя, как кого-нибудь били. Рассказывал даже свои семейные и сердечные дела. Наставительно преподавал, что с женщинами надо быть осторожным, что в него однажды была влюблена даже турчанка и говорила ему: «сжег ты мне, собака, сердце мое!» Но Тодори хоть и пожалел ее, бедную, но отказался от любви ее, «потому что закон наш не позволяет этого...»

Он даже и с женою своею осторожен. Жена живет одна со свекровью и детьми в Сулий-



ской долине, в деревне Грацана и занимается хозяйством; она грамотная, и когда нужно Тодори писать ей о делах, он, чтоб она не сочла себя госпожей, обращается и в письме не к ней, а к двухлетнему сыну своему, и на адресе подписывает ему, а не ей: «Господину, господину Михалаки Пападопуло». От Тодори Алкивиад узнал еще, что в Янинском озере живет издавна огромное чудовище, которого никто не видит никогда; оно выходит лишь ночью и плачет и воет пред каким-нибудь великим несчастьем, которое должно поразить страну. Узнал, что ламиа[18] иногда бывает и в церквах и причащается даже с другими женщинами, чтобы высмотреть красивого молодца и пожрать его после...

Так проходило утро, и когда в полдень раздавался крик ходжи с минарета, Алкивиад спешил к дяде Ламприди обедать...

Семья Ламприди была многолюдная, веселая, согласная. Сам старик, старушка, две незамужних дочери, сын женатый, второй сын холостой (глухой добряк) и дочь вдова 23 лет, та самая Аспазия, которая так понравилась Алкивиаду. Парадные комнаты богатого

дома были почти всегда заперты и отворялись лишь в праздник или для очень важных гостей. Вся семья проводит почти целый день вместе, в одной и той же зимней комнате, – в ней горел день и ночь неугасаемый очаг; широкие турецкие диваны окружали этот очаг; к очагу придвигали в полдень и вечером большой стол и обедали около него, кто сидя по-турецки на диванах, спиной к очагу, а кто лицом к нему на стульях а la Franca. У очага женщины шили и вязали чулки; у него же гадали на картах; около него принимали запросто гостей; около него грелся, возвращаясь из Порты, хозяин; около него дремала иногда мать семейства; сам Алкивиад ложился около этого очага и проводил целые часы, то разговаривая, то молча, то с газетой в руках, то играл в карты с девицами, то смотрел пристально и долго на бледную вдову, которая чувствовала на себе его взгляд и улыбалась, опуская глаза на работу.

Обед всегда был шумен и беспорядочен; один садился, другой вставал; все шумели, звали разом слуг, десять рук бросались разом на каждое блюдо; вино и соус беспрестанно

лились на скатерть; неопрятные от беспорядочной и безуспешной работы мальчики, в грязной фустанелле и босые (хотя красивые собой и одетые с живописною беспорядочностью), то вместе толкались около стола без дела и принимали участие в беседе и спорах господ, то пропадали так надолго, что все господа разом начинали кричать и звать их, и кто-нибудь из младших вставал и бежал за новым блюдом; либо сама кухарка приносила кушанье, а мальчики оставались вместо нее в кухне и работали что-нибудь там.

Столовое белье менялось раз в неделю, по воскресеньям; но в понедельник оно было до того залито и замарано, что смотреть на него Алкивиаду было неприятно. Алкивиад привык у отца и сестры к большой опрятности и часто брезгал во время этого шумного и беспорядочного обеда, но благодушие, патриархальность и согласие, с которым все это делалось, утешали его.

Спали тоже почти все вместе, в двух комнатах, мужчины и женщины. Только старший женатый сын спал с молодой своею на другом конце дома, в особой комнате, отде-

ланной более а la Franca: без диванов, без очага, с широкою железною кроватью, австрийской работы. Ее молодые, впрочем, не любили и, проклиная (в душе) «франкские комплименты», нередко приказывали попросту, то есть по-турецки, стелить на полу шелковые приданные тюфяки. Вся остальная семья гнездилась и ночью в окрестностях того очага, около которого днем обедали, дремали, скучали, веселились, беседовали, болели, выздоравливали, пели песни, читали газеты, вздыхали, смеялись, спорили, работали и ленились.

Старик, старушка, обе девицы и вдова Аспазия спали вместе в маленькой спальне около столовой; глухой брат – в столовой, около очага, на диване. Иногда Аспазия зябла в спальне и приходила спать к нему на другом конце дивана. Иногда глухой скучал, не спал и среди ночи входил к сестре и матери и находил и у них себе уголок. А не то так будил мать или одну из сестер, кричал: «не могу спать! Вари мне в очаге кофе и поговорим у очага». Добрая мать вставала и исполняла его желание. То же делали и сестры.

Умственной жизни в доме не было вовсе. У старшего женатого сына, который учился в Корфу, стоял в спальне шкафчик с книгами, и он гордо показывал их Алкивиаду. Там был Данте, Плутарх, Софокл и другие древние авторы; но ключ даже от этого шкафчика был давно потерян, и молодой Ламприди давно говорил: «все забываю заказать этот чортов ключ для моей библиотеки!» В столе валялся грязный сборник песен, романсов и стихов: Парасхо, Саломо, Суццо, Рангави и других поэтов новой Греции.

Всей семье особенно нравились стихи, в которых автор судил мужчин с женщинами:

*Женщины все жалуются,  
Что мужчины виноваты,  
А мужчины все жалуются,  
Что виноваты женщины...*

Суд автора кончается так:

*Бросим этот суд,  
Все мы значительно неправы!  
Придите, помиримся  
И сладко поцелуемся!*

Кроме этой книжки да греческого перево-

да «Павла и Виргинии», которого начало было оборвано и потеряно, книг, запертых в шкапу старшего сына, не было в доме ничего литературного. Газеты зато читали немного, и даже слуги занимались ими нередко.

Обе девицы, Цици и Чево[19], еще учились, к ним ходил учитель и преподавал им только арифметику, греческую историю и древний греческий язык. Трудно понять, зачем им даже и это было нужно! Какое было дело Цици и Чево до мудрости Сократа, до мужества Леонида, до изящества Алкивиада?

Мудрость воплощал для них отец, который говорил, что «назначение женщины быть честною женой и хозяйкой». Изящество олицетворяли молодые сыновья архонтов, которые носили какое-то подобие модных сюртуков и жакеток, называя эти жакетки «бонжуркалш», и надевали золотые перстни на грязные пальцы.

На что им был Сократ, Алкивиад и Леонид? Однако они учились прилежно... они знали, что дочери архонта должны быть грамотны, целомудренны и трудолюбивы. Цици и Чево твердо учили наизусть от такой-то страницы

до такой-то, от одной точки до другой, о том, как Демосфен противился Филиппу; но хорошо ли он делал, что противился, учитель и не пытался спрашивать... Выучивали твердо и, готовясь отвечать, даже шутили между собой, споря: которая знает слово в слово твердо, которая без запинки скажет скорее, до того скоро, чтоб и слова стали непонятны.

Кончался урок, Леонид гиб под Фермопилами, Саламин озарялся вечною славой, Александр разносил по земле эллинскую культуру, – рушилось Македонское царство, греки становились рабами, воцарялось христианство, Византия боролась с варварами, Константин Палеолог умирал с оружием в руках на стене Вечного города, наставали годы праха и молчания... Ипсиланти, Караискаки, Миааули водрузили знамя новой независимости.

Учитель рукой указал в сторону Миссалонги; из окна видна была Пета... Но Цици и Чево, обе румяные, обе добрые и веселые, с одною и тою же приветливою и целомудренною улыбкой отвечали учителю и о возрождении, и о гибели родного эллинского племе-

ни... мысль их была ближе... она не только не улетала в Саламин, – она не доходила и до Петы, за реку... она была уже у очага или на кухне. «Отец пришел из Порты; он любит, чтобы Чево сама подносила ему водки и кофе. Матушка приказала починить коленкор на своем подоле. Сестрица Аспазия сама ничего почти не работает; надо ей помочь. Гости пришли! мальчик убежал! у кого ключ от варенья и от кофе? Да и гораздо веселее чистить картофель на кухне с кухаркой, которая шутит и смешит, чем отвечать про Фемистокла, которого и Чево и Цици и представить себе не могли как в виде Фемистокла Парасхо, который, сторбясь и прихрамывая, идет на рассвете в церковь или в греческую канцелярию, у которого борода до пояса, сюртук уж очень стар и неопрятен!..»

Сестра их Аспазия знала еще меньше их: ее не учили даже и истории, а только древнегреческому языку; она была слаба здоровьем, так же как и младшие сестры не выходила никогда из дома и от рассвета до ночи проводила время у очага, гадала и играла в карты или работала...



Она не знала даже и греческой истории, но Алкивиад и не искал испытывать ни познаний ее, ни патриотических чувств; он был убежден, что в трудную минуту народной жизни всякая гречанка, сама не зная даже зачем и для чего, скажет сыну, мужу или брату: «иди на войну или дай денег, если сам не можешь...» Он и сам забывал иногда все гражданские заботы; все помыслы его, вся жизнь его на время ограничились знакомою комнатою и гостеприимным очагом, около которого толпилась столько лет радушная и простая семья... Около этого очага носилась ежеминутно и его душа, даже и тогда, когда он катался верхом по окрестностям города или рассеянно слушал занимательные бредни Тодори.

# XIII

Сближению Алкивиада с Аспазией в семье Ламприди никто не мешал, но никто и не помогал. Он приходил, садился около нее и за обедом, и на диване после обеда у очага; звал ее ходить по большой пустой зале, когда было не слишком холодно; играл с ней в карты. Он даже очень лукаво расточал ей похвалы при всех, хвалил ее голубые глаза, ее умную улыбку, ее длинные русые косы, которые висели на спине из-под черного вдовьего платочка... Трогал даже эти косы руками при отце и матери ее и перебирал подолгу, сидя за ее спиной. Он нарочно делал то же самое и с Цици, у которой косы были еще больше, сознаваясь только при всех откровенно, что цвет волос у Аспазии ему больше нравится.

Он думал, что все увидят в нем лишь нежного брата их, и сначала так и было. Все, кроме самой Аспазии, видели в нем лишь доброго родного. Старший женатый брат был добрый, веселый крикун, который был заботлив лишь тогда, когда дело шло об отправке пшеницы в Марсель, так же как и родители его не

видели никакого зла в этой близости и нередко звали Алкивиада посидеть на свою половину; потому что и Аспазия здесь, – говорили они.

Но одному никогда не приходилось Алкивиаду быть с Аспазией. Никто, по-видимому, нарочно не следил за ними, но никогда почти больше одной минуты они не оставались одни. Мать выйдет похлопотать по хозяйству; другие дочери уйдут учиться; старик у каймакама; невестка отдыхает; старший брат шумит внизу в конторе с крестьянами; вот бы остаться хоть час одним!.. Но нет, глухой брат придет и ляжет на диван с газетами. «Во Франции смятения!» – кричит он что есть силы.

«Смятения...» – повторяет знаком Алкивиад, не выпуская кос Аспазии.

– Петр Бонапарте оправдан! – кричит глухой.

– Хорошо! – отвечает Алкивиад.

Аспазия смеется. Глухой уходит; но в дверях является кухарка... Она ищет барыню. Лукавая Аспазия останавливает ее и спрашивает: «Что слышно о морозе? Не испортятся ли

апельсины и лимоны?..» Не успела еще ответить кухарка... уже мать звенит ключами. Смеркается; мальчик вносит огонь. Старик, потирая руки и жалуясь на холод, возвращается из Порты. Входит невестка и вздыхает, что дурно спала после обеда; за ней ее муж... Он шумит и проклиняет сельских людей: «Варвары люди эти! Сказано: деревенский человек! Человек без воспитания – камень. Что ты сделаешь с камнем... Опять уверяют, что не могут заплатить нам своего долга... Нет! я, наконец, забуду и всегдашнее свое благоутробие (евсплахния) и то, что они греки... и пойду к каймакаму. Жестокий народ! неумолимый и хитрый народ!»

Девицы кончают уроки, Чево спешит подать сама отцу наргиле и кофе; Цици помогает мальчику накрыть стол...

Еще один день кончен... вот и длинный зимний вечер... А Аспазия еще не влюбилась и знает ли даже она, о чем тревожится Алкивиад?.. Конечно, эти волнения, эти неудобства не были страданиями; эти волнения были очень сладки и легки.

Алкивиад иногда погружался в чтение пе-

сенника, подыскивал подходящие стихи и, подавая их Аспазии, говорил:

– Прочти, Аспазия, это очень хорошо. Не надо, Аспазия, забывать поэзию...

– Прочту! – отвечала ему иногда Аспазия, взглядывая на него с улыбкой, которая ему казалась насмешливою...

Иной же раз подыскивала другие стихи ему в ответ.

Эта игра понравилась обоим, и Алкивиад стал повторять ее чаще и чаще...

Раз он указал ей на стихи Рангави; в них была жалоба влюбленного на несмелость свою; они кончались так:

«Небесный твой взгляд как магнит привлекает меня. Скорее бьется мой пульс, отмеривая мою жизнь. Но ты так сурова, что кровь моя стынет и только вздох один осмеливается вылететь из моей груди».

Аспазия (все улыбаясь насмешливо) взяла книжку – Долго искала, долго думала, нашла наконец и указала на конец чернической песни «Всадник».

«Не плачь, прекрасная девушка! Мой путь лежит за эту гору. Я везде найду красавиц...

но не останусь ни с одной... Отчизна моя – весь мір!..»

– Что же? – спросила она. – Разве это не хорошо?

– Пусть и не плачет! – шутя ответил Алкивиад, не желая еще обязывать себя никаким серьезным словом.

– У нас о таких вещах и не плачут хорошие женщины, это у нас не в обычае, – сказала Аспазия, опять наклоняясь к шитью.

В комнате тогда были только глухой и Чево. Чево, улыбаясь, но вовсе не лукаво, а как дитя, также смотрела на него.

– Чево! – сказал Алкивиад, – ты никогда не вступишь?

Чево не посмела ответить на такой дерзкий и бесстыдный вопрос. Она лишь опустила глаза.

– Выйдет замуж, тогда и влюбится! – отвечала за нее Аспазия.

– Не лучше ли сказать наоборот? – возразил Алкивиад. – Прежде влюбится и тогда выйдет замуж.

– Это у нас не в обычае, – ответила Аспазия.

– Разве есть на страсти обычай! – воскликнул Алкивиад уже в досаде.

– У нас так привыкли...

– Неужели у вас не понимают ничего мечтательного, ничего страстного, ничего романтического... Никто не посягает на честь женщины и девушки... Честь есть краеугольный камень семьи – это мнение каждого элина!., (продолжал с жаром Алкивиад). Я говорю не про этот священный принцип, а про увлечение и про мечты... Я говорю о жизни сердца и фантазии... Неужели здесь женщины не живут душой?.. Везде, где есть жизнь, достойная этого названия, есть и страсти, которые доводят иногда до самоубийств, до преступлений... Это грустно, это ужасно, но это доказывает, что существует нечто идеальное... Сафо бросилась с Левкодского утеса... Всякий день читая и слушая рассказы о странах просвещенных, мы видим, что молодые девушки и молодые женщины удушают себя угольями, отравляются, убегают из дома родителей, сходят с ума от любви...

– Пусть Бог избавит нас от такого просвещения! – ответила Аспазия. – Нам так лучше;

у нас никто не убивается.

Чево громко засмеялась, так ей понравился ответ сестры...

С досадой слушал Алкивиад этот смех... и ему еще стало досаднее, когда в комнату вошел старший брат Аспазии и с простодушной радостью спросил:

– Чему вы смеетесь? Скажите мне, посмеюсь и я!

– Я не смеюсь, – сказал Алкивиад, – я жалею, что у всех здешних женщин и у мужчин нет сердца... Послушай, я расскажу тебе историю, которую рассказывал мне недавно один молодой русский в Афинах. Она поучительна уже потому, что изображает нам хоть одну сторону жизни этой России, которую все мы, и враги и друзья, так мало знаем. Я России боюсь и не люблю, ты это знаешь...

– Напрасно! – перебил молодой Ламприди. – Без России все ваши рассказы будут щепки и стружки, больше ничего...

– Это другое дело! – гневно воскликнул Алкивиад. – Слушай меня! Слушай меня и ты, Аспазия, умоляю тебя.

– Я слушаю! – сказала Аспазия.



– Нет, оставь работу и гляди на меня, – сказал Алкивиад.

Аспазия послушалась.

– Слушайте же, – продолжал Алкивиад, – я говорю, что не люблю Россию. Но я согласен, что ничего не может быть милее, благороднее, любезнее образованного русского. Один из таких обворожительных русских молодых людей рассказывал мне, незадолго до моего отъезда сюда, историю своего родного брата, который, как и видно по всему, был также прекрасный молодой человек. Он служил офицером на Кавказе и был из хорошей семьи. В Петербурге были у него богатые родные. В доме этих родных он встретил молодую девушку, тоже родственницу их, и влюбился в нее. Хотя и герой на войне, молодой офицер этот был очень застенчив и скромен с женщинами. Девушка была невинна, стыдлива. Он не решился объяснить с нею и открылся лишь брату своему. Брат с жаром взялся помогать ему и скоро передал ему о согласии молодой девушки. Открылись наконец и богатым родным, от которых девушка зависела. Но отец семейства отверг этот брак,

потому что и офицер и девушка имели оба слишком мало средств к жизни. Сверх того, старик нашел и другое препятствие, которое любопытно, как странная подробность русских нравов: он сказал, что эта девица слишком хорошо воспитана, чтобы выйти замуж за человека, который почти не говорит по-французски. «Точно не человек хорошего общества, а какой-нибудь управляющий имением другого». Офицер опять уехал на Кавказ, и все думали, что он забыл избранницу своей души. Но это была ошибка; прошло лет более десяти, молодая девушка вышла замуж за человека также молодого, очень богатого и знатного; она стала ему верною супругой и прекрасною матерью своим детям; но полюбить его не могла...

Тут Алкивиада перебила старушка Ламприди (она вошла при начале его рассказа):

– Отчего же она не могла полюбить мужа? Значит она своего долга не знала! – восклицала она.

Алкивиад продолжал:

– Прошло больше десяти лет; офицер возвратился с Кавказа и видел ее; но вспоминать

о прошлом они себе не позволили. Молодая женщина, однако, была часто больна и, наконец, скончалась в своем имении, в провинции. Умирая, она написала ему письмо, в котором открылась ему, что до последней минуты не переставала его любить... Он получил это письмо; не показал его никому; несколько дней был веселее прошлого; потом уехал из Петербурга в то имение, где похоронили предмет его обожания... Он остановился в маленьком городке, переоделся, переменял там белье; подарил все вещи своей слуге в гостинице и нанял экипаж и поехал туда, где была ее могила; с ним был пистолет, и дорогой он шутил с крестьянином, который его вез; выстрелил пулей в большое дерево на дороге и спросил крестьянина, крепко ли бьет пистолет и пробьет ли он лоб хорошо? В селе служили всеобщую, когда он приехал; он был набожен: вошел в церковь, долго молился, и потом люди видели, как он вышел из церкви и стал молиться на ее могиле. Долго молился он; наконец люди проходя заметили, что он лежит неподвижно; его подняли и увидели, что он застрелился из пистолета! Всем род-

ным своим и друзьям он за день до смерти приготовил прощальные письма и подарки... Вот это страсть! Вот это чувства! – воскликнул, кончая, Алкивиад.

Все долго молчали; когда он кончил, только старушка мать с горестью заметила, что и в просвещенных и больших местах случаются, видно, худые дела, и удивлялась, как же это начальство там православное, а за этим не смотрит!

Николаки немного покраснел за мать и сказал ей:

– Вы, матушка, уже слишком древняя кيريا. Нынче свет не такой!

Потом он развеселился и предложил Алкивиаду выслушать его рассказ об эпирских греках.

– Хорошо! – воскликнул он, – ты рассказал мне трагическую историю из аристократической жизни русских; а я расскажу не одну, а две истории про наших... В одном селе, в странах наших, жил в старые годы один молодой паликар. Женился он на красивой девушке; справил свадьбу; пожил с молодою женой хорошо и уехал торговать на чужбину, как, ты

знаешь, делают многие эпироты. Вернулся он через пять лет; жена все еще была хороша и без него стала любовницей одного турецкого бея. Расстались, однако, они, когда вернулся муж; но долго бей без нее оставаться не мог; он решил похитить ее и убедил ее так, что она согласилась на это. Бей выбрал день, в который она с мужем должна была ехать в гости к родным в другое село. Он взял с собой трех отважных турок и скрылся с ними за утесами на пути. Муж ехал на муле; жена шла около него пешком; не доходя до утеса, жена сказала мужу: «Поезжай тихо, а я одежду хочу поправить и после догоню тебя!» Видно, ей было страшно. Бросились турки на мужа; но он имел оружие; ранил всех трех, и остался бей перед ним один. «За что хотел ты мне зла? – спросил он его. – Отдай мне оружие и скажи мне правду, тогда я подарю тебе жизнь». Бей отдал ему оружие и сознался, что хотел похитить его жену. Тогда муж не вынес этих слов и убил бей. Возвратился к жене, отрубил ей обе груди, бросил ее на дороге, истекающую кровью, и бежал из Турции. Дело это старых времен. Турки были тогда проще, и

паша сказал: «Напрасно бежал человек – я бы не наказал его. Он исполнил долг своей чести!»

– Какая жестокость, но вместе с тем какая греческая отвага! – сказал Алкивиад.

– Конечно, люди простые, без воспитания, – вздохнув, заметила старушка.

– Подожди! – продолжал Николаки, – я расскажу и другую историю; та не будет такая жалкая. В другом нашем городе явился другой паликар. Сосватал он себе одну девушку из другого села и не знал, что она давно любила другого. Собрались люди на свадьбу; привезли невесту из того села; поехали с ней родные и гости. Начали петь песни свадебные, кушать, пить и плясать. Невеста была в другой комнате с женщинами, по обычаю. Вдруг она говорит им: «Подождите; нездорова я что-то. Выйду воздухом подышать!» Вышла и родила ребенка в саду. Никто и не знал, что она беременна. Ребенок был мертвый, вероятно, от волнения, в котором была мать. Ждут ее женщины другие, ждут; нейдет назад. Вышли и видят, она в поле идет с ребенком; хоронить его хочет. Закричали женщины; сбежались

все; взяли у ней ребенка мертвого; взяли и ее, уложили сперва, а потом на другой день отправили назад к отцу в село. Расстроился праздник, и разъехались все; но они уже были обвенчаны; молодой обдумал и на увещания пойти к митрополиту и просить развода отвечал: «Нет не пойду. Такую, должно быть, Бог мне судьбу дал; возьму ее опять; она мне жена и, может быть, доброю хозяйкой будет». И взял ее, и живут с тех пор не хуже других.

Этой истории от души смеялись не только сам Николаки, Аспазия и мать, но даже обе девушки Цици и Чево. Старушка и тут по-своему объяснила это дело Алкивиаду.

– Что ж делать! – сказала она. – Бедный человек: где ему разбирать строго. Работала, видно, хорошо в виноградниках да послушною женой стала; вот он и живет с ней... Бедность! Турция!

Алкивиад, напротив того, похвалил этого грека и сказал:

– Должно быть, у него истинно христианские чувства были.

– А что же ты думаешь и скажешь о первом молодце нашем? Вот зверь-человек! –

спросил Николаки.

– Жестокий человек! – отвечал Алкивиад. – Но я думаю не о нем только, а и о многом другом. Я думаю: отчего энергия, сила духа, патриотизм и все, что красит мужа... Отчего это у вас в Турции все досталось в удел гораздо более низшему классу, чем вам? – Пастухам, земледельцам, сельским капитанам... Ведь у тебя, Николаки, не достало бы ни великодушия, чтобы простить жене проступок, ни силы духа, чтоб убить ее...

Николаки не успел ответить; за него ответила Аспазия:

– Зачем же ему убивать или прощать? Жена его никогда не изменит ему; а если б изменила, на это есть митрополит, есть закон, их разведут, если она обесчестила мужа... Убивают только грубые деревенские люди...

Алкивиаду было больно слышать эти слова; не потому, чтоб он находил в самом деле необходимым убить или простить, а потому, что и в этих словах Аспазии видел прозаичность во взгляде на жизнь.

Он замолчал и скоро ушел.

Через несколько дней возобновился опять



почти тот же разговор. Его начал Николаки, на этот раз при отце Ламприди. Смеясь, рассказал он отцу, как афинские люди жалеют, что архонты в Турции не убивают жен из ревности и не убивают самих себя от несчастной любви.

Алкивиаду было неприятно слышать такое злонамеренное искажение его мысли, но из-за Аспазии он ссориться не хотел и потому, краснея и побеждая свой гнев, попросил дядю рассудить их с Николаки.

– Николаки, – сказал он, – клеветает на меня. Я не то хотел сказать. Я хотел только отдать себе отчет, почему у сельского отрока в Турции, у пастуха, у горца еще так много энергии, а у архонтов так мало силы духа, так мало предприимчивости на все, что не касается их личных интересов.

Старик на это ответил с загадочной улыбкой (он был как Аспазия симпатичен и лукав, и все черты дочернего лица напоминали его черты):

– Архонты люди нежные; деревенскому человеку ничего не страшно. Он ко всему привык: и к холоду, и к голоду, и к ножу, и к ру-

жью, которое он найдет куда спрятать от турка...

На это у Алкивиада было хорошее возражение. Он привел афинскую молодежь, которая, быть может, сказал он осторожно, не менее изнеженна и воспитана не хуже архонтов Турции; а сражалась же в Крите и показывала еще пример тем деревенским людям, которым, по словам дяди, ничто не страшно: ни холод, ни голод, ни черная ночь в горах!

Старик Ламприди и на это ответил с улыбкой:

– Вы граждане свободного царства; люди гордые, образованные, самолюбивые... А мы люди скромные, «райя», в великие политические дела не мешаемся; заботимся о хлебе насущном, о том, как нашему аге подати платить и чтоб ага нас не бил. Вот теперь уже меньше бьет... Спасибо доброму соседу – северному, который все советы аге. дает; а в 29 году и поближе приходил взглянуть на друга... Спросил: как живешь, друг? Живи хорошо, душа моя, и ушел. Ага с тех пор поумнел и окреп даже. Подданные благословляют его; трудятся, работают, богатеют, кушают спо-

койно с супругами и деточками своими... и молятся за агу...

Вся семья смеялась, слушая старика; стал смеяться и Алкивиад, но ушел домой опять недовольный. Благодушные Аспазии, глубокий сон ее воображения приводили его в отчаяние.

Молодая женщина, казалось, не искала и не желала ничего; ни о чем не мечтала, и если иногда и жаловалась, то лишь на то, что ей не совсем здоровится и что вообще она не крепка и не сильна. Раз она сказала Алкивиаду, что она не надеется долго прожить...

– Тебе бы надо иную жизнь, – сказал ей Алкивиад. – Тебе бы нужны были развлечения.

– Какие развлечения? – спросила Аспазия.

– Поехать бы тебе в Афины, видеть свет, театр, прогулки, оживленный город. Подышать воздухом свободы. Показать и другим людям, показать свободным эллинам, какие цветки расцветают в глуши эпирских гор... Кто знает, – прибавил он шутя, – когда юноши эллины увидят, какие цветочки родятся здесь, то эта мысль воодушевит их, и часом раньше и здесь будет Греция.

Взгляд и румянец Аспазии говорили, что эти похвалы и шутки ей сладки; но слова ее и на этот раз дышали равнодушием.

– Не для нас такая роскошь, – ответила она спокойно.

– Однако неужели ты не подумала о том, что жить, как ты живешь, не значит жить. Подумай же: целые года... года! ты ходишь из спальни в столовую; от очага к столу и от стола к кровати... Весь мир для тебя в этих двух комнатах; ты даже никогда не гуляешь.

– Что я буду гулять, – сказала Аспазия, – мостовая нехороша; дороги трудные, гористые; зимой дождь и холод; летом жарко... И с кем я буду гулять? наш Николаки не любит ходить; матушка стара и тяготится; сестрам обычай не позволяет – они уж велики...

– Чего же ты желаешь? Неужели ничего?

– Ничего! – сказала Аспазия.

Другой раз, оставшись с ней, наконец, наедине, он спросил у нее:

– Неужели ты не любила и не будешь никого любить?

– Я любила, ты знаешь, мужа. Бог взял его у меня. Это мое несчастье. Кого я буду любить?

– Неужели, Аспазия, ты понимаешь только ту любовь, которая разрешена законом?

– А то какая же еще? – спросила Аспазия и потом, краснея, прибавила с неожиданною прямою:

– Если ты хочешь иной любви, ищи ее в том предместье, знаешь, где живет Аише и ей подобные... В хорошем доме ты иной любви здесь не найдешь...

После этого ответа Алкивиад долго не возобновлял разговора о любви. Он боялся оскорбить Аспазию и, отчаявшись в успехе простого каприза, стал думать все больше и больше о браке.

## XIV

Любовь, которой первые, то сладкие, то бурные движения ощущал в себе Алкивиад, не могла отвлечь его вполне от драгоценных всякому греку политических размышлений. Он то интересовался ролью, которую родные его и другие христиане играли в Турции, то хотел выведать их образ мыслей, то передать им свой. Ему скоро пришлось заметить большой разлад во мнениях между ним и семьей дяди, где не только сердцами, но и мнениями были все заодно. Сыновья покорно и искренно внимали отцу; он видел больше их, испытал гораздо больше смолоду и книгами больше их занимался. Он помнил борьбу за независимость, он пережил сам опасные минуты, он путешествовал по торговым делам и в России и в западной Европе, видел народные смятения в Вене и Париже; гораздо лучше сыновей знал по-французски и по-итальянски, знал хорошо и по-турецки, а сыновья не знали.

Он свободно умел переходить от речи простой и деревенской к речи почти ораторской

и ученой; знал также хорошо грубую половицу горную, как и цитату из Демосфена или Фукидида.

Был недурно знаком и со старым турецким шериатом, и с новыми турецкими уставами, а каноническое право православной церкви знал так хорошо, что митрополит не мог кончить без него ни одного важного дела.

Еще и прежде, когда решения турецкого кади были гораздо своевольнее, чем теперь, кир-Христаки один из всех христиан умел склонять кади на свою сторону и не раз вынуждал их рвать уже написанные решения.

Алкивиад видел, что дядя, благодаря осторожности своей и политическому миролюбию, приобрел такую силу, что мог и бедным людям делать много добра. Он давал им иногда деньги займы (конечно, на проценты); принимал на себя и поручительство за многих и в денежных обязательствах, и в тех случаях, когда Порта нравственно не знала, довериться ли ей человеку. Он выпрашивал людей к праздникам из тюрьмы или совсем выручал их оттуда. К нему приходили с просьбами не только христиане, но и турки. Один

хлопотал об отсрочке долга своего другому торговцу, который не мог не уступить господину Ламприди; другой просил похлопотать о повышении в офицеры из простых жандармов. Алкивиад сам видел, как молодой турецкий солдат, премилый и преумный юноша, целовал руки Христаки и прикладывал их ко лбу своему за то, что тот выхлопотал ему от начальства долгий отпуск в деревню, чтобы видеть старую мать и выдать замуж сестру.

Заметил и сам Алкивиад и стороной узнал, что кир-Христаки несправедлив лишь в одном случае – он не мог выносить, чтобы бакал, пастух или погонщик смел судиться у турок с архонтом; как бы ни было дело право, кир-Христаки употреблял все усилия, чтобы доказать простолюдину, как тщетны его надежды. Но когда приходилось разбирать дело двух людей низшего положения или двух архонтов друг с другом, г. Ламприди становился правдив и неподкупен. Так же неподкупен и правдив был он и в делах между людьми разной веры и породы, между евреем и греком, между греком и турком, между турком и евреем. Ему нужно было только одно – чтобы ба-



кал, пастух, погонщик и земледелец не забывали своего старого страха перед архонтами и своего уважения к большим очагам, «где и котел в кухне никогда не перестает кипеть».

Это афинскому юноше казалось ужасным и непростительным.

Не нравились ему и политические взгляды дяди и двоюродных братьев. Разница между отцом и сыновьями была только та, что сыновья иногда говорили смело против турок, а отец никогда даже и в семье открыто Турцию не корил. Но и он сам, и сыновья были приверженцами России и в нее только верили.

Элинскую конституцию они все трое осуждали чаще, чем деспотизм султанов, и с негодованием говорили о непрочности министров в Афинах и о пустых бреднях афинских адвокатов и газетчиков.

Раз глухой насмешливо сказал Алкивиаду:

– Не забудь и нас бедных райя, когда будешь министром свободной Эллады. Скоро будешь, будь покоен! При вашей анархии долго ли стать министром?

– То, что вы зовете анархией, мы зовем свободой и жизнью, и во имя свободы надо тер-

петь и некоторое зло. Кто не любит свободы, тот не грек.

Так возразил Алкивиад, но старик Ламприди на это сказал:

– Византийцы тоже были греки, а о свободе не заботились много.

Алкивиад решился на это сказать дяде колкость.

– Тебе хочется стать пашой, я вижу это, дядя... Говоря это, он сам немного смутился, полагая, что дядя обидится. Но кир-Христаки отвечал, не сердясь, что это еще не большое зло, если б его и подобных ему стали делать турки пашами.

– Я думаю, и стране, и народу будет больше блага от таких пашей, как мы, чем от ваших адвокатов и газетчиков...

Потом старик подумал и прибавил:

– Именно такой постепенный прогресс, постепенное уравнивание прав и нужно. Надо, чтобы христианин в Турции был поставлен так, как был поставлен поляк в России; он имел все права, но не захотел удовлетворяться своим высоким положением, хотел завоевать пол-России, и буйство его наказано...

Алкивиада не раз уже возмущало то, что дядя предпочитал русских полякам; он не раз пытался возразить ему на это, что если у поляков отнять право самобытности, то почему же должно оставить его за греками? Но всякий раз дядя тут же обличал его в противоречии с самим собою: «то примирение с Турцией, то бунт и свобода, – что же мы выберем, наконец, по-вашему?»

– Нет, друг мой, – сказал он ему раз, – не так вы судите. Я понимаю вас; я вас жалею. Вы еще недавно принесли столько жертв, пролили столько драгоценной всем нам крови. Ум ваш помрачился, и вы, как потерянные, простираете руки ко всякому, на кого только не взглянете. Поверьте мне, друзья мои, естественный поток истории увлечет и вас в свое течение. Не будем предсказывать час и день падения великих царств. Сколько раз стояла Турция на краю гибели и сколько раз опять укреплялась. Пусть стоит она долго, лишь бы христиане заняли постепенно в ней ту роль, которая им подобает... Ты скажешь: «и мы говорим то же». Нет, вы не то говорите, вы хотите невозможного; вы хотите, чтобы

каждый грек день и ночь искусно сочетал в уме своем наружную дружбу с тайною жаждой разрушения. Когда ты, юноша образованный и способный, так говоришь и хочешь возбуждать народную гордость, чего же можно ждать от множества тысяч людей, которые и ума твоего, и воспитания не имеют, и плана такого сложного и глубокого постичь не в силах... Да! и я проповедую примирение с Турцией; но не мы с тобой двое составляем народ. И когда я возьму в расчет веру, предания и самые события, как они слагаются помимо нашей воли, я вижу, что примирение это не в руках Англии, не в руках этого изверга, которого посадили на свой престол безумные французы, а в руках того, за кого говорят и близость положения, и вера, и сила, и предания. Только двуглавый орел, дитя мое, может осенить мирно крылами своими эллинский крест и луну ислама... Султан Махмуд, мое дитя, понимал дела вернее, чем эти нынешние франки, Фуад покойный и другие... Только Россия, друг мой, может поручиться турку за грека и греку за турка... Без ее вмешательства доверия не восстановите... И о каком союзе

вы говорите? О военном союзе? Пусть будет по-вашему. Объявите вместе с Англией и Турцией войну русским. Пусть какой-нибудь министр ваш достигнет этой цели, пусть выйдут в поле Хассан и Яни вместе против Иванов... Но ведь и ты, и министр твой естественных чувств не убьете в народе; не убьете в нем веру; он скажет: это грех; и солдат бросит ружье, и офицер, поверь мне, сломает с негодованием свою шпагу...

Не нравились Алкивиаду такие мысли; не нравилось ему многое в Эпире; не нравилось ему то, что митрополит садится на официальных празднествах ниже простого кади и что люди выносят это... Не нравилось, что мало шума в городе; не нравилось, что простые люди слишком почтительны к старшим и богатым; поклоны их, хотя и очень изящные и полные внутреннего достоинства, ему казались низкими. Еще не нравилось ему (и в этом он был, конечно, прав), что купцы, учителя и другие люди с влиянием и весом зовут своих же простых греков – звери дикие и не ценят их качеств...

Нестерпимы были ему иногда все эти во-

просы о здоровье и долгие разговоры о погоде; не любил он слишком торговый дух своих соотечественников и часто открыто роптал на него...

Не нравилось кой-что ему и в частной жизни здешних людей, особенно, когда ему самому это было неудобно и невыгодно. Не нравился ему, например, донельзя обычай эпирских вдов – носить столько лет после мужа одни лишь темные цвета, почти не выходить из дома, не посещать даже церквей.

Еще участь молодых вдов, таких, как Аспазия, могла перемениться от нового замужества; но вдовы пожилые были до гроба осуждены общественным мнением носить один черный цвет и не покидать жилища своего ни в каком случае: ни для пира дружеского, ни для свадьбы близкого, ни для молитв, ни для простой прогулки, разве-разве для посещения больного и умирающего.

Женщины эпирских городов и не роптали на это... Мужчины хвалят этот обычай, и когда однажды Алкивиад осуждал этот обычай при старике Парасхо, – Парасхо, выслушав взрыв его негодования, ответил ему сурово:

– Хороший обычай! прекрасный обычай! Обычай хранительный для светской семьи! Каков бы ни был супруг, добрый или злой, супруга знает, что она наслаждаться жизнью может лишь до тех пор, пока существует супруг... Она знает, что с его смертью для нее закрыто все... Да! она знает это, и как бы ни был с ней супруг суров или жесток, она молится о продлении его жизни!..

– Храни, храни народное, – прибавил еще старик, вздыхая и качая головой. – Народное – святыня!..

– Так после этого, – воскликнул Алкивиад, – нам остается один шаг до самосожжения индийских вдов!..

– Нам до этого еще далеко, – ответил старичок.

Алкивиад уговаривал Аспазию, по крайней мере, гулять для здоровья. Доктор, который лечил Ламприди, поддерживал Алкивиада.

У Аспазии был свой апельсиновый сад на конце города. Он достался на ее долю после смерти мужа и давал недурной доход. Но Аспазия не видала его ни при жизни мужа, ни

вдовой.

Раз в месяц приходил к Аспазии садовник, докладывал ей, как цветет сад, как созревают плоды или как идет их сбыт; приносил букет цветов, узел апельсинов и лимонов или две-три золотых лиры за продажу фруктов... Аспазия осматривала апельсины, разрезывала их, смотрела, не испортились ли они от холодов, считала деньги; давала садовнику небольшую награду, а сама в сад все-таки не шла.

Алкивиад в этом саду был несколько раз, несмотря на зимнее время; имел там гостей у садовника; лежал на рогожке подолгу под тенью прекрасных деревьев, обремененных и в это суровое время года плодами; мечтал о любви, о судьбах отчизны.

Туда несколько раз умолял он пойти Аспазию. Один вечер он был так красноречив, приводил столько хороших примеров, так настраивал Аспазию словами доктора, который жалел, что все почти молодые женщины в Эпире бледны и слабы от затворнической жизни, что Аспазия поколебалась. Отец поддержал Алкивиада.

– Для здоровья и церковь разрешает нару-



шать посты, – сказал он. – А в прогулке что дурного? Это наше местное безумие и больше ничего.

Мало-помалу после разрешения отцовского все стали собираться на прогулку, если завтрашним утром будет хорошая погода. Все, кроме отца, который должен был заседать в меджлисе, и двух младших дочерей, которым обычай позволял только изредка и по вечерам выходить в гости к близким родным. Мать спросила у мужа: «в котором году бунтовался в Эпире Гиони-Лекка?», и когда муж сказал: «в сорок восьмом году», она сочла года, протекшие с тех пор, и, вздохнув, с улыбкой покачала головой: «Точно вчера это было! С тех пор я и в садах не была. Покойный поп Георгий (да упокоит Господь его душу!) встретился с нами там. Сам он был ведь человек семейный и нашу семью любил. Муж тогда в Константинополь поехал; меня уговорила идти гулять покойная сестра; а поп Георгий и встретился. Любил шутить он и говорит: «Что, – говорит, – кира? Гуляешь с тоски по мужу? И то сказать, след ли человеку жену законную зимой одну оставлять... Зимой теп-

лота нужна всякому рабу Божию». Чуть мы было от смеху не померли все... Вот двадцать один год с тех пор прошло, и не видала я этих садов».

Алкивиад не совсем был доволен, что и тетка собралась идти. Он рассчитывал, что пойдут только Николаки с женой и Аспазия. При Николаки одном было бы свободнее. Николаки считался в Рапезе нововводителем; он позволял себе ходить по улицам с женой под руку, тогда как и не под руку с женами вместе ходить днем по улицам без крайней нужды избегают в Эпире. Хаживал вместе с женой и по утрам не раз с визитами; хотя и это тоже не в обычае. По обычаю, молодая жена должна делать визиты с тещей или с другою пожилою дамой; а если тещи нет, то с «парамамой», старушкой нянькой или кухаркой.

Всякий знает: если идет молодая архонтиса в шелковом платье, и платочек новенький, вышитый золотом или шолком, на голове, а рядом старушка в черном бумажном платье и в черном простом платочке на голове, – всякий тогда видит и знает, что архонтиса молодая идет «сделать посещение в честный дом».

И всякий, кто кланяется ей, думает: «Хорошая женщина! Хорошая супруга! Хозяйка женщины, исполненная добродетелей!»

Николаки считался поэтому в таких делах нововводителем и раз даже позволил, по примеру русского консула, посетившего как-то Рапезу, поставить жену в церкви внизу с мужчинами, возле себя, вместо того, чтоб отправить ее на хоры, где за решетчатую перегородкой, как в гареме, стоят все хорошие женщины. Но это он сделал только раз; жена его была красива; она чувствовала взоры паликаров, не могла спокойно молиться и уже с тех пор ни разу не спускалась вниз к мужу...

Рассчитывая на это, Алкивиад уже рисовал себе картину. По городу Николаки пойдет под руку с женой. Аспазия и он сам пойдут около них или вперед особо каждый. Иначе, конечно, Аспазия согласиться не может; но за городом, когда никого не будет видно, он непременно возьмет Аспазию под руку и пустит молодых супругов вперед. Тогда, вдали от всякого надзора, он и руку пожмет покрепче, и слово иное скажет, быть может, и поцелует, сперва насильно, где-нибудь за поворотом, за

скалой, за деревьями. А потом уже и не настолько!..

С этими мыслями он и заснул приятнее, чем когда-либо, не теряя надежды, что старушка еще раздумает и не будет мешать им.

Но эти надежды не сбылись. Рано утром, едва только он проснулся, Алкивиад увидал, что по улице идет к нему в халате и вязаной ермолке Николаки.

Он отворил окно и спросил его:

– Что нового? Идем или не идем?

– Подожди! – ответил ему Николаки задумчиво. И больше ничего с улицы не хотел сказать.

В комнате он тотчас же разразился проклятиями на беспорядки, которым нет конца в Турции, несмотря на то, что новый вали-паша берет, казалось бы, хорошие и строгие меры.

На рассвете, около самого сада Аспазии, нашли тело убитого молодого поселянина. Сначала думали, что он убит не разбойниками, а из личной мести или в ссоре с кем-нибудь из своих же, потому что убит он был, – не застрелен и не зарезан, а задушен и забит до смерти чем-то тупым. Потом поймали

между большими камнями осла, на котором было одно лишь деревянное седло. Люди, которые знали молодого человека, сказали, что осел этот его, что он обыкновенно привозил в город дрова, угля, а иногда и более ценные вещи на трех-четыре ослах. Значит двух или трех ослов увели вместе с навьюченным добром, а этот осел, тоже развьюченный, как-нибудь вырвался и убежал.

Это уж на простую ссору или на месть не похоже.

Николаки, однако, подозревал не разбойников, не Салаяни, не фессалийскую шайку какую-нибудь, которая могла неожиданно пробраться и сюда, не Дэли, который, как слышно, бедных поселян не убивал и даже не грабил. Он подозревал или албанцев-мусульман, из которых постепенно набирались в то время охотники для новой пограничной стражи, или же прежних баши-бузуков, которые недовольны тем, что их распустили и лишили их и казенных «пайков», и всякой возможности вступить с разбойниками в братские соглашения и делить с ними добычу, для вида гоняясь за ними.

Николаки был вне себя от гнева, кричал и проклинал и хидудье, и баши-бузуков, всех турок и даже эллинов, за то, что они еще хуже турок потворствуют разбою на границах Эпира и Акарнании...

– Ваши проклятые чернильщики афинские виноваты больше турок, – говорил он... – Вместо того чтобы с Турцией заключить политические союзы... лучше бы точнее исполнили взаимные обязательства о выдаче разбойников и других злодеев. Не хуже вас и мы эллины, а иной раз с охотой послал бы я вам в наказанье английскую эскадру в Пирей, либо казака с кнутом на ваших адвокатов и газетчиков!.. Смотри, не жалость разве? Что за мальчик хороший был этот деревенский! Честный, смирный был мальчик, бедный! Да успокоит Господь Бог его невинную душу!.. Честным людям и на свете нельзя так жить!..

Алкивиад вместе с Николаки пожалел о мальчике, и когда тот немного успокоился, он спросил его:

– А гулять не пойдём разве?

– Хорошее гулянье! – ответил Николаки. – Поди уговори жену мою и Аспазию к этому

месту теперь... Увидишь, что они тебе скажут... Я с тобой пожалуй пойду и место тебе покажу, где человека убили.

Алкивиад еще надеялся уговорить женщин сам, но Аспазия отвечала, что боится и не пойдет за город без вооруженных людей, и прогулка была надолго отложена.

## XV

Вскоре Алкивиад узнал, что у него есть соперник. В Рапезе жил молодой архонт по имени Яни Петала. Ему было около 30, и, несмотря на это, отцы семейств и даже молодые женщины звали его всегда то пэди, то есть дитя, мальчик, потому только, что он был холост. Он был очень богат; жил вдвоем со старухой матерью, которая страдала ногами и почти не сходила с кресла, привставая лишь для самых важных лиц.

Собой, по мнению Алкивиада, он был очень противен. Лицо его было бледное, изнуренное; под глазами синяки; выражение суровое, недоброе, длинные жесткие усы, глаза навывкате; бороду брил он только два в неделю; одевался грязно и бедно (конечно, во франкское платье); даже феска его всегда была стара.

– Экономический человек! Хозяин! – говорили про него архонты.

– Да, – подтверждали архонтисы, – Бог в утешение дал матери больной такого сына.

Все считали его дельцом. Он так же, как и



кир-Христаки, дружен был со многими турецкими беями и чиновниками. Давал им взаимы деньги и держал их этим в руках. «Кир-Янаки! кир-Янаки!» звали его турки и хвалили его. Через это и он мог иногда делать добро своим. Однажды, гуляя с Алкивиадом, зашли они на горку, под которой стояла непроходимая грязь. Им не хотелось идти через эту грязь; Петала позвал одного ремесленника грека, велел ему разобрать ограду из колючих растений в чьем-то чужом саду, чтобы пройти чрез него, и опять забрать ограду за ними.

– Чужой сад! – сказал Алкивиад.

– Ба! Это ничего, – отвечал Петала. – Я знаю хозяина; он бедный человек, башмачник.

– Разве бедность его дает нам право ломать его ограды? – спросил Алкивиад.

– Дает, потому что и он во мне нуждается. Он знает, что завтра, послезавтра я могу его освободить из тюрьмы или сделать еще что-нибудь для него полезное.

Алкивиад не возражал на это; он и сам был рад спасти от грязи свои афинские ботинки; но все, что бы ни делал, ни говорил этот человек, ему было противно.

Ему было противно, когда он слышал, что Петалу называли пэди и, как ему казалось, искажали значение этого ласкательного слова, называя им грубого и грязного тридцатилетнего архонта. Не нравилось ему также, когда Петалу звали поликарром. Какой же он паликар? На вид неуклюж и грязен, боязлив. С тех пор как разбой стал сильнее около Рапезы, в имение свое не ездит, на охоту за город ходить боится. Такие ли бывают паликары? Сам Алкивиад паликар – другое дело. Скачет верхом каждый день далеко по горным тропинкам, иногда до самой Петы; собой красив, моложав и свеж, как девушка, ловок и умен.

А звать Петалу паликарром и пэди – это не имеет смысла. Иные в городе находят Яни Петалу не только паликарром и пэди, не только дельцом и образованным человеком хорошей фамилии, но еще и очень остроумным человеком.

Алкивиад старался понять, в чем же его остроумие; замечал, чему смеются люди, когда он говорит.

Иногда к Алкивиаду заходили вместе с

Яни Петала и другие молодые люди, сыновья докторов, купцов, священников городских и учителей, все люди «хорошие», «лучшего общества»; пели (притворив окна) патриотические песни, шутили и беседовали. Алкивиад прислушивался к остроумию их.

– Молчи, молчи! – говорил Петала приятелю, – я посажу тебя на телеграфную проволоку, и мы тебя будем с двух сторон бить хлыстами, и ты так верхом до Янины доедешь!

Все хохотали.

– Где он находит все это, этот человек! – восклицали собеседники.

Один из источников остроумия Петалы Алкивиад, однако, скоро нашел. Петала и сам не скрывал его.

Это была книжка, которая вышла недавно в Константинополе под заглавием: «Орнито-скализмата», что значит «Куриное скобление», то есть автор роется в житейском прахе и выскабливает всякую мелочь для осмеяния порока.

Книжка эта составлена в виде букваря, по алфавиту, и каждое слово имеет определение ядовитое и тонкое, по мнению многих греков.

Русский (например) значит – человек, который бьет свою жену, своего слугу и своего осла.

Эллины – народ, знаменитый своим согласием.

Женщины – потомки Евы.

Лягушки – соловей озера.

Книги – вещи, распространяющие торговлю бумагой.

Придворный – смотри слово льстец.

Разврат – дитя роскоши и т. п.

Петала не скрывал этой книги, не выдавал ее ум за свой, а напротив того, носил ее с собою всюду и прочитывал из нее отрывки охотно всем.

Алкивиад все-таки был слишком образован, чтобы не возмущаться «куриным скоблением» и не находить с досадой, что и в отношении забавности простодушный Тодори и всякий простой эпирот гораздо лучше своих соотчичей богатого круга, настолько же выше и забавнее беседой, насколько он выше их смелостью и горячим чувством веры и народности.

«Куриным скоблением» Петала еще боль-

ше опротивел Алкивиаду. Догадаться, однако, сам, что Петала ему соперник, Алкивиад долго не мог. Самые нравы были таковы, что ничего не могло быть заметного. Петала нередко бывал у Ламприди, но он за Аспазией не ухаживал, почти никогда с ней не говорил, а если говорил, как со всеми, о вещах самых обыкновенных, так что и в голову ничего прийти не могло.

Первое подозрение о том, что Петала ему соперник, подали разговоры самой семьи Ламприди. Однажды, когда Аспазия была в комнате невестки, у очага собрались отец, мать Ламприди, глухой сын, Николаки и Цици.

Алкивиад вошел и застал их за оживленным разговором. Даже глухой принимал в нем участие. Для него нарочно все изменяли голос и шептали, стараясь делать движения губ как можно выразительнее.

Николаки не прекратил разговора при Алкивиаде, и сама старушка обратилась к нему с вопросом:

– Каким ты человеком считаешь Яни Петалу?

– Худым человеком, – сказал Алкивиад.

– Чем же он так худ? – спросила старушка как будто и с досадой.

Алкивиад хотел узнать, отчего говорят о Петале.

– Так, – сказали ему. – Зашел разговор: что он за человек.

– Я говорю, что он хороший паликар! – сказала мать.

– В чем же хороший? – спросил Алкивиад с недобрим чувством.

– Он у нас из первой здесь семьи, – сказала мать. Отец, однако, который был очень горд тем, что еще при Али-паше дом Ламприди был известен, заметил на это, что семья Петала не так-то первая. Отец его был простая деревенщина из-за гор и в Валахии разжился. – Имеют теперь состояние! – сказала мать. – Я ведь и не равняла их с нашей семьей или с другими большими очагами. Я говорю, что теперь они имеют, и лучшего палакира в нашей стороне не найдешь.

– С этим я соглашаюсь вполне, – сказал старик.

Николаки стал требовать от Алкивиада,

чтоб он сказал, какие недостатки у Петалы. Алкивиад об «Орнито-скализмата» умолчал, потому что и Николаки, и отец его оба уважали эту книжку и звали автора ее «демон», но стал говорить, что Петала неопрятен, скуп, лукав и трус.

– Он не скуп, но экономен, – сказал старик, – торговец человек, хозяин. Торговля – это душа народной и государственной жизни.

Николаки перебил отца (он сам не всегда любил застегивать панталоны; любил и по гостям ходить без галстука и за обедом ел прямо с блюда, разливая соус на скатерть); он вступился за неопрятность Петалы.

– Он человек деловой, занят с утра до вечера. Ему некогда вашими деликатностями заниматься, цилиндр на голове носить и перчатки на руках...

Глухой захотел знать тоже в чем дело. Но когда ему сказали губами, о каких пустяках заботится Алкивиад, он махнул рукой на него и ушел в свою контору.

Неприятнее же всего были возражения отца и сына Ламприди на обвинения в трусости, которые возводил Алкивиад на Петалу.

– Конечно, – сказал Николаки, – он по горам не скачет один и разбойников опасается; но в этом ничего нет худого. Он человек с состоянием и знает, что его Салаяни схватит и возьмет большой выкуп. И какая польза в такой храбрости? Но что умеет быть мужественным, когда нужно, так у нас есть и пример. Недавно в глухой стороне города, за казармой, солдаты турецкие отняли у одной бедной старухи большой кусок сукна, который она несла, бедная, домой. Петала гулял в это время около казармы с другими молодыми людьми. Он услышал крик старухи, узнал в чем дело, кинулся один в толпу солдат, разогнал их, отнял сукно и грозился сейчас же пойти к каймакаму вместе со старухой... Солдаты просили у него за товарища прощения. Это полезное мужество... Пусть за город никогда не ездит и не ходит, пусть боится разбойников и пусть почаще приносит такую пользу бедным соотечественникам своим, какую он принес этой женщине!

Кир-Христаки согласился с этим и хвалил Петалу.

– Что говорить! – сказал он. – Сказано, он



человек каким следует быть...

Алкивиад попробовал, возвратившись вечером домой, узнать мнение Парасхо о Петале, но этот почтенный старец не сказал о нем ни особого худа, ни добра. «И худ, и хорош, смотря по обстоятельствам!» – заметил он только, но потом прибавил: «А слышал ты, что за него хотят отдать Аспазию?.. Невестка Николакина и старуха сама мать много стараются; но мать Петалы – на! Железо-женщина. Хочет кроме сада еще тысячу лир приданого; а семья Ламприди 700 предлагает. Дело и стало на этом несогласии». Как ни был Алкивиад возмущен тою мыслию, что его можно мерить одним аршином с таким хамалом[20] (так звал он иногда Петалу), но что же было делать? Надо бороться и с хамалом, если он соперник...

– Но нет! возможно ли, чтобы милая Аспазия предпочла Петалу?..

Черные бархатные очи, румяное, нежное, молодое лицо, отвага, ловкость, одежда модная, голос приятный, шелковистая борода, стихи... любезность, патриотизм... Разве возможно, чтобы молодая женщина не видала и

не ценила всего этого?..

Какой же Петала соперник? Не надо и унижать себя такими сравнениями.

## XVI

Вскоре после этого один случай навел старика Христаки на следы Салаяни. В знаменитом воинскими подвигами во время восстаний селе Вувусе жили вместе двое братьев – капитан Анастасий Сульйо и младший брат его Панайоти, которого чаще звали Пан-Дмитриу, то есть Панайоти, сын Дмитрия.

Они оба были женаты во второй раз. Капитану Сульйо было теперь уже за пятьдесят лет, а младшему брату не было еще и сорока. Старший брат овдовел рано и имел лишь одного сына, – молодца, каких мало. Лет двенадцать тому назад сыну этому вздумалось без всякой обиды от кого-нибудь, без всякой причины позабавиться с разбойниками. Ни зла, казалось, юноша никому не желал, и ему никто не делал зла; но он познакомился с разбойниками, и понравилась ему бродячая эта и лихая жизнь... Прочел это отец и стал его стращать и отговаривать. Молодец не послушался и убежал в горы. Паша тогда был строгий и искусный, «такой паша (говорил с почетом сам старый капитан), что младенцы

в утробе матери от взгляда его дрожали!» Разбойников скоро поймали. Из них двое были турки-арнауты, а трое – греки. С ними вместе схватили и сына капитана Сульйо, который не успел и вреда никакого сделать.

Любил паша торжества и парады; любил, чтобы на него народ смотрел и видел бы, как он казнит злодеев. Он выехал сам навстречу разбойникам и въезжал назад в город верхом с войском и барабанным боем, и говорил даже народу, и туркам, и грекам, указывая на связанных преступников: «Видите, люди, как я воров и злодеев ловлю! Смотрите и вы все живите хорошо у меня!»

Вели по городу так и бедного сына капитана Сульйо; судили его и присудили вместе с другими повесить, на страх и пример.

Плакал капитан и деньги большие, по своим силам, предлагал, и пашу самого умолял пощадить единственного сына его.

Паша, слушая капитана, был тронут (все заметили это). Но что ж было делать! Он хотел показать строгий пример, и юношу Сульйо повесили вместе с другими.

Отец тогда отер отцовские слезы и стал

опять паликаром, каким и был всегда.

Он пошел посмотреть, как казнили сына. Смотрел не отворачиваясь и, уходя с места казни, сказал при друзьях:

– Не посрамил ты хоть имени нашего эллинского, и то хорошо! Вещи свои людям дарил, и оттолкнул ты сам стул ногой, когда надели тебе петлю, дитя мое! И то хорошо!

Он узнал также, что один из престарелых шейхов мусульманских предлагал сыну перейти в мусульманство и обещал ему за это тайно спасти его. Сожалея о его молодости и красоте, он просил и уговаривал его как только мог, и не достиг ничего.

– Нельзя нам христианской веры менять! – отвечал юноша на все его уговоры.

Прошло несколько лет; капитан Сульйо стал привыкать, но все еще тосковал. Пришел он раз по делу к паше, и паша его вспомнил и принял хорошо.

— Нет у тебя детей вовсе? – спросил он капитана.

И когда капитан ответил, что нет, паша сказал ему:

– Так Богу было угодно, бедный Анастасий.

Что делать! Ни я, ни ты в этом суде не виноваты, а судьба наша. А ты бы женился опять, и будут дети. Без детей что за жизнь человеку!

Взялся сам паша искать для Анастасия жену.

– Не ищите ему богатую, а хорошую; деньги у него есть – говорил паша.

И жена паши, зная все это дело от мужа, жалела капитана. И она взялась помогать; разослали по разным домам старух: и турчанок, и христианок, и арабок, отыскивали разных невест. Но больше всего понравилась сиротка одна, семнадцати лет, дочь одного умершего бакала, которая жила вдвоем с теткой в маленьком доме в предместье.

Собой была она мила и нравом тихая, и кроме приданого, которое у нее было, паша еще выхлопотал чрез митрополита, чтоб ей из общественных сумм тридцать золотых лир дали.

– Горожанка она! – сказал капитан паше. – Работа у нас в селах тяжелая.

– Я тебе горе сделал, я и радость хочу тебе причинить, слушай меня, капитане! – сказал паша.

Сульйо оделся в хорошее платье, усы подкрутил и пошел смотреть молодую невесту. Кровь у него была не стара еще, и как он увидел ее, когда она вынесла ему на подносе варенье и сперва, опустив глаза, долго стояла перед ним, пока он брал варенье и говорил с теткой, а потом, поклонясь ему, стала отходить задом и взглянула ему прямо в его капитанские глаза глазами девичьими и покраснела, тогда старый Сульйо забыл, что она не привычна к сельской работе.

Уговорились обо всем с теткой; невесту опять позвали; она поцеловала руку жениха, а жених превеселый пошел и у паши полу поцеловал.

Паша любил таких старых капитанов-молодцов и сказал, когда Сульйо ушел, другим туркам:

– Хороший человек! И что за мошенники эти греки, что не хотят ладно с нами жить! А мы бы жили с ними хорошо, когда бы «е они.

– Московские дела, эффендим, – заметил ему другой турок.

– Грекам и Москва не нужна! Они много хуже Московы, – отвечал паша.

Обвенчался старый капитан с молодою Василики, и стали они жить хорошо. Василики оделась по-деревенски и стала работать землю под виноградник не хуже других, за домом смотрела еще лучше, потому что в городе привыкла к большой чистоте. Двух мальчиков подряд родила капитану и одну девочку. Сердился капитан, Василики слушалась и молчала; худо об ней не говорил никто. Не любила она только, когда капитан сначала кричал ей: «Васило!»

– Не говори ты мне так, – просила она его, – не обижай ты меня. Я сирота, и ты меня такую взял.

Капитан жалел и спрашивал:

– Как же тебя, морé, звать, скажи ты мне, бедная твоя голова!

– Зови ты меня Василики, а не Васило. Васило, это по-сельски, а я не сельская.

– Это ведь гордость, – возражал капитан, но в угоду ей звал ее так, как она хотела. Иногда при людях близких он нарочно кричал громко и сурово:

– Васило, иди сюда!

Жена молчала в другой комнате и не



шла...

– Кира-Василики, пожалуйста сюда! – говорил капитан тихо и подмигивая гостям.

И Василики тогда приходила.

Младший брат капитана, Пан-Дмитриу, женился во второй раз недавно, на девушке очень красивой: она гораздо красивее старшей невестки. Звали ее Александра; ростом она была высокая, белая, чернобровая и черноглазая, а волосы были у ней белокурые. В песнях эпирских таких точно девушек и хвалят...

«Она белокурая и черноглазая», хвалит песня, «брови ее как снурки, глаза как оливки, а волосы светлые, длиной в сорок пять аршин». И Пан-Дмитриу женился не просто, а были и с ним сначала всякие приключения.

Ему было тогда не больше тридцати двух лет, и собой он был молодец, но Александре не нравился. Александре нравился другой, мальчик молодой, двадцати лет (а ей самой было тогда семнадцать). Девушки сельские свободнее городских в Эпире. Куда им прятаться, когда надо работать в поле, топливо мелкое рубить, виноградники копать, вино-

град собирать!.. Говорили все про Александру, что она любила молодого поповского сына Григорья, и будто, когда встретит его в поле, сама заговорит с ним и скажет ему: «душка моя! очи ты мои! взяла бы я на себя все твое худо!» Либо колпачок новый белый ему обещает сама вышить густо по краю.

Пан-Дмитриу сватался за Александру; но она не хотела, а родители не принуждали ее; и она раз осмелилась так, что сказала ему:

– Молчи ты у меня, несчастный. Я не возьму тебя мужем. Ты изломанный!

– Чем же я изломанный? – спросил Пан-Дмитриу и удивился.

Все видели, что он собой молодец, а так, видно, с досады девушка сказала, чтоб его обидеть.

– Покажу я тебе, какой я изломанный! – сказал Пан-Дмитриу.

Вышел раз за деревню и отыскал Александру в винограднике одну. Поймал ее; рот ей зажал и обрезал ей волоса.

– Чтобы знала ты, какой я изломанный!

Другие крестьяне все вступились за девушку и отвели Пан-Дмитриу в город в тюрьму. В

тюремье продержали его три месяца, и опять же кир-Христаки его оттуда выручил.

Добился, однако, Пан-Дмитриу, что Александра вышла за него замуж. Он был богаче ее родных; у него баранов было больше, и земли они с братом от кир-Христаки держали много (потому что Вувуса была чифтликком у кир-Христаки).

Когда женился Пан-Дмитриу, Александра стала ему жена как жена, и жили они тоже хорошо, хоть ссорились почаще, чем капитан с Василики. И капитан был добрее брата, и Василики была гораздо смирнее Александры. Братья поделились в доме, списки составили, свидетелей и священника призвали. Капитан брату и главный двор уступил, а сам в другую сторону сделал себе выход; а баранов держали они еще вместе и другие торговые и хозяйские дела сообща почти всегда делали.

Около того времени, однако, как приехать Алкивиаду в Эпир, они начали ссориться, и люди посторонние говорили, что виноват Пан-Дмитриу больше, что он старшего брата не уважает.

Что у них было сначала, трудно сказать,

только Постом Великим приехал капитан Сульйо к кир-Христаки в Рапезу и стал просить его рассудить их с братом на месте.

– Брат, – говорил он, – тоже согласен, и что ваше благородие скажет, то и будет. Не хотим мы и к митрополиту идти, а уж к кади и не советуйте нам, к кади не пойдём мы. Мы желаем, чтобы вы рассудили нас.

Кир-Христаки отговаривался и делом своим, и тем, что турки будут недовольны, зачем он судит людей.

– А главное, – сказал он наконец, – кто ж хороший человек из города теперь к вам деревенским поедет. Вы пристани держите разбойников и друзья с ними. Мне и жизнь и деньги мои дороги... Не войско же мне турецкое с собой брать?

Капитан божился, что ничего не будет; Алкивиаду хотелось съездить, Николаки тоже был не прочь, и они поддерживали капитана.

Капитан обещался выслать на самую реку сколько угодно вооруженных молодцов и сам готов был выйти с ними господам навстречу с ружьем и ятаганом, как следует, и проводить их от реки, через ущелья и скалы, до самой

Вувусы. В город же самый прислать стражу из сельских христиан, и сам кир-Христаки знал, что в глазах турок будет неприлично.

Выйдет это для каймакама оскорбительно, будто турецкое начальство не в силах защищать граждан. Взять же из города жандармов турецких тоже нехорошо, потому что не следует туркам видеть, как кир-Христаки патриархально сам судит. И зачем без крайней нужды турок мешать в дела?

Не ехать – опять нехорошо, зачем лишать себя популярности и влияния, особенно на тех крестьян, которые в его чифтликах[21] живут. Однако ему и шаг за город выехать было страшно без вооруженных людей. Поэтому решили так: взять с собой Тодори пешим без ружья, но с пистолетом и ножом за поясом, и еще своих мальчиков, чтоб около лошадей пешими шли и хоть в обуви ножи имели, и, кроме того, пригласить верхом одного богатого старика, который теперь служит кавассом при одном консульстве, наклоненного разбойника, того самого, которого кир-Христаки хвалил в своем письме Алкивиаду. Теперь он живет процентами и торговлей; дом имеет

своей большой и кавассом лишь из чести и из безопасности служит.

Так решили это все; назначено было ехать в следующую пятницу утром, чтобы кир-Христаки свободен был от меджлиса, и капитан Сульйо простился и уехал.

## XVII

В пятницу утром, как только ясное солнце рассеяло над городом и горами зимний туман, кир-Христаки, Николаки, его сын, Алкивиад и поклоненный разбойник Сотирый выехали из Рапезы верхами. Тодори, веселый-развеселый, шел впереди, показывая, где лучше ехать; а мальчики, тоже довольные, шли около господских лошадей: один около отца Ламприди, другой около сына. Все, конечно, ехали шагом. Только один Алкивиад, где было поровнее, пускался вихрем скакать вперед, напевая итальянские бравурные арии и опять вскачь возвращаясь назад.

Переехали реку вброд, и на той стороне встретили господ трое пеших вооруженных крестьян, и оба брата Сульйо на мулах и тоже с оружием.

Увидав около себя целую стражу, Николаки и отец его повеселели и стали шутить и беседовать с крестьянами.

Алкивиад уговаривал Николаки ехать вперед, и тот согласился. Впереди их шел только один молодой крестьянин, перекинув за пле-

чи рукава, и шел так быстро по камням, что Алкивиад с Николаки не обгоняли его, несмотря на то, что ехали самым крупным шагом. Все другие отстали от них. Вувуса, которая из города и с реки была так хорошо видна, а потом скрылась за скалами, опять показалась вблизи, и молодые люди запели вместе клефтскую песню о старых битвах с турками в этих местах.

Пели они дружно и складно; Алкивиад старался сам подделаться, как мог лучше, под турецкий напев, и так доехали они до одного ручья.

На ручье увидали они двух женщин: старуху и молодую... Они мыли белье. Молодая обернулась лицом к всадникам и засмеялась.

– Вы поете песни о том, как мы воевали здесь, – сказала она. – Мы воюем, а вы только песни наши поете! Это хорошо!

– Вот какая смелая! – сказал Алкивиад.

– Отчего же мне смелой не быть? – спросила она.

– Как тебе не быть смелой, – сказал Алкивиад. – Вот Бог тебя какую красавицей сделал. Кто же ты такая, скажи нам?



Николаки тоже смеялся с ней и сказал Алкивиаду, что она и есть Александра, жена Пан-Дмитрию.

– А что, – спросил он, – косы отрасли с тех пор? Красавица опять засмеялась громко и сказала:

– И ты о косах моих знаешь! Вот вы, горожане, какие люди... Заставила бы я вас виноградники копать, как мы копаем целые дни, тогда бы и руки у вас не были бы такие белые, как теперь... Мы воюем с турками, а вы песни о войне поете. Виноградники мы копаем, мы убиваемся, а вы только и знаете, что кушать виноград...

Николаки на эти строгие слова вынул душистый жасмин из петли сюртука своего и любезно подал его крестьянке...

– Это значит, ты мне понравилась! – сказал он.

– Это я тебе так понравилась? А ты понравился мне или нет? Уж как мне тебе на это сказать, и не знаю... Вот этот паликар лучше тебя, я думаю, будет, – отвечала она и указала на Алкивиада.

– У нас говорится пословица, – возразил

Николаки, – когда овца брыкается – волку радость. Когда женщина бранит, значит любила!..

Скоро приблизились другие всадники и сам муж Александры. Молодые люди оставили ее и поехали дальше.

Алкивиад не мог воздержаться, чтобы не заметить, какая разница между деревенскими и городскими женщинами в Турции. «Насколько деревенские естественнее и свободнее!»

Приехали, наконец, в Вувусу, и, отдохнув немного, кир-Христаки начал судить и мирить двух братьев. Три часа длился этот суд и кончился примирением. Составился целый меджлис, в нем приняли участие два сельских священника. Николаки, Алкивиад и кавасс Сотири помогали тоже сколько могли. Увещания церковные, дружеские советы, законы турецкие и местные обычаи, совесть – ничто не было пренебрежено. Спор был большой. Капитан Сульйо жаловался, что Панайоти отпахивает у него всякий год ту землю, которую ему, старшему брату, завещал отец; Панайоти жаловался, что старший брат не от-

дал ему подноса, который остался от отца, что во время его отсутствия не кормил его собаку. «А собака такая, пастушья, хорошая и ужасная, пять лир стоит, и турецкий старый закон говорит: кто убьет такую, собаку у другого, тот должен заплатить хозяину столько денег, сколько стоит куча проса в рост собаки. Повесят мертвую собаку так, чтоб она ногами задними до земли касалась, вытянут ее, и сыплют семя, семя все обсыпается; когда сравнится куча с головой собаки? А просо – семя не дешевое! Вот что такое эта собака!» – сказал Пан-Дмитрию. Жаловался еще меньшей брат, что когда делились они, то положил Сульйо заделать дверь и окна свои, которые выходили на двор брата, и» не заделывает, и кира-Василики все подсматривает у них на дворе. Жаловался старший брат опять на запашку, вынимал отцовское завещание и читал: «а ту землю, которая от больших камней на дороге идет до большого дерева, прунари[22] именуемого, отдаю старшему сыну моему Анастасию». Пан-Дмитрию возражал, что старший брат, с тех пор как был в Греции и привез оттуда греческий паспорт – уже не турецкий

подданный; иностранцы же прав на недвижимость в Турции не имеют. Пан-Дмитриу жаловался, что капитан Сульйо его жену Александру худыми словами поносит и всячески грозит ей.

– За худые дела! – возражал старший брат.

Все это нужно распределить по статьям, разобрать и рассудить по совести, и кир-Христаки вел дело очень искусно. То хвалил братьев, что они прибегли к христианскому братскому суду вместо турецкого, то доказывал Пан-Дмитриу, что о собственности и он говорить не может, потому что Вувуса чифтлик, собственность его самого, кир-Христаки Ламприди, а они, селяне, имеют лишь право пользоваться плодами земли, что если говорить о турецком законе, то и сам он, кир-Христаки, может найти сотни причин удалить с земли своей их обоих. Стыдил Пан-Дмитриу за то, что он не чтит брата, который его вынянчил и в люди, как отец, вывел; стыдил и старика за то, что он худыми словами Александру поносит. Ходил смотреть, где окно и где дверь на дворе, смотрел и собаку и велел с ней хорошо обращаться. Поднос отцовский

решил отдать Пан-Дмитрию не по праву, а по совести, потому что у Василики, жены капитана, было и без того три своих подноса.

Не легко кончилось дело; оба брата горячились и сердились, кричали и утихали поочередно.

Капитан Сульйо еще был тише; когда кир-Христаки замечал ему: «Как же ты, друг, не понимаешь этого!» Сульйо вздыхал, склонялся и грустно стучал себя по лысой голове пальцем.

– Где ум? Где ум у нас, эффенди мой? Где ум наш, скажи ты мне! Где ум?

– Слушай, капитане, – говорили ему, – не кричи, а слушай.

– Не буду кричать, эффенди мой, не буду! Слушаю, слушаю!.. Как нам не слушать... Где ум? Где наш ум!

Когда Пан-Дмитрию начинал опять доказывать свои права на землю, капитан подмигивал судьям молча или вздыхал, указывая на свою грудь, где за жилетом было спрятано завещание, или шептал: «от камней до большого дерева – прунари именуемого».

Меньшой брат был и упорнее и необуздан-

нее. Правда, старший брат сидел вместе с судьями, а он из почтения судился стоя, но зато он кричал громче, входил в исступление, прыгал то вперед, то назад, клялся, не внимал увещаниям.

Один раз Ламприди закричал на него:

– Если не хочешь слушать меня, к туркам иди! А другой раз кавасс Сотири сказал ему:

– Друг мой, морé друг мой, успокоился бы ты немного и говорил бы как человек; что это тебя как черви какие-то гложут? Так судить эффенди не может. Хорошо он сказал: иди к туркам!

И попы в один голос подтвердили:

– Много у тебя злобы, Пан-Дмитриу, а это великий грех!

Тогда лишь он успокоился и ответил, что ему лучше дело свое проиграть на суде у кир-Христаки, чем ходить в мехкеме. Наконец помирили братьев. В хозяйственном деле оправдали старого капитана, только велели ему окно и дверь заделать, поднос отдать и собаку кормить. Посоветовали Александру не обижать и не бесчестить худыми словами.

– Одна семья, один род, – сказал кир-Хри-

стаки. – Брату обида, а тебе срам!

– Где ум! Эффенди, где ум? – говорит капитан.

Уж свечерело, когда господа выехали из Вувусы; вооруженные крестьяне опять проводжали их до реки сквозь ущелья, кто пешком, а кто и на муле.

Николаки и Алкивиад ехали сзади, и Алкивиад говорил своему спутнику, как это странно и неприятно видеть, что такие эпические герои, как Сульйо и брат его, ссорятся из-за жен, из-за собак и подносов.

Пока они рассуждали об этом, кир-Христаки, Сотири и капитан Сульйо, которые вместе ехали впереди, шопотом совещались о Салаяни. После долгих колебаний капитан Сульйо открыл им, что брат его в дружбе с разбойниками, а жена его еще хуже.

– Любит разбойника! Великую любовь к нему имеет! Деньги, дары, пряжки серебряные от него принимает. За эти-то худые дела я ее и худыми словами звал... За эти дела, эффенди! За эти злодеяния.

– А муж знает? – спросил кир-Христаки.

– Этого я не знаю наверное и потому не

скажу. Опасаюсь греха! – сказал Сульйо.

Сотири заметил на это, что как мужу не знать. Хитрее деревенских наших кто на свете есть? Злодеи люди! Все знают. Сказано – греки, природную мудрость имеют.

Долго совещались три старика. Совещались и на другой день в городе, куда Сульйо приходил нарочно для этого. Он просил только не обличать, не губить брата, и кир-Христаки поклялся ему, что все будет кончено без вреда и опасности.

Сульйо вернулся, и через несколько дней послали и за Панайоти.

Архонт долго говорил с ним, затворившись, с глазу на глаз, стыдил и уговаривал его, но не стращал ничем.

Он говорил ему о том, что стыдно греку, когда его люди рогачом зовут и смеются над ним.

Панайоти ответил, что злые люди говорят много худых речей и что не он и не жена его в грехе, а злые люди.

Этим разговор их и кончился.

Но кир-Христаки не перестал с того дня размышлять о том, как бы уговорить Панайо-



ти, чтоб он предал своего друга.

## XVIII

Через несколько дней после суда в Вувусе Алкивиад решил поехать на север Эпира. Его побуждали к этому два чувства вместе: желание видеть весь край, короче узнать дух своих соплеменников и надежда яснее понять степень своей любви вдали от Аспазии, от ее тихого кокетства, вдали от Петалы и от ревности. Долго странствовал он по Эпиру верхом; Парасхо отпустил с ним Тодори, и само турецкое начальство давало ему в провожатые конного жандарма, везде, где он предъявлял письма от каймакама рапезского и от дяди Ламприди. Конечно, за ним тайно следовали; но ничего особенно предосудительного в его поведении не нашли; тайные агенты турецкого начальства доносили о нем разноречиво: одни говорили, что он там и сям проповедует союз с Турцией, другие, что он поет охотно революционные песни и говорит иногда: «Когда бы здесь у людей было больше энергии, то давно бы и эта прекрасная страна стала Грецией!» Но к таким словам турки до того привыкли, что и не обращают на них

внимания.

Алкивиад видел и слышал, и испытал многое за эти Два месяца. Он спал и в ханах, на простой рогожке, с узлом платья под головой. На него лился дождь и падали камешки, когда был сильный ветер; ночевал и в уютных и чистых жилищах разжившихся где-нибудь на чужбине селян, и в богатых архонтских домах в Янине и в Загорах под шелковыми тяжелыми одеялами, и в домах суровых сулиотов, в которых, как в ханах, не было ни очагов хороших, ни потолка, ни стекол на окнах, а только крыша и под крышей нагие жерди, закопченные дымом. Янину он нашел живописной, хотя и несколько унылой. Свободному греку, привыкшему к движению Афин и корфиотской эспланады, показался грустным этот город. Он стоит в долине, между высокими горами, на берегу широкого озера. Улицы Алкивиад нашел очень тихими; по ним очень редко проезжала шагом карета бея или паши; колокола христианские здесь не звонили. Многие дома таинственно крылись за высокими оградами, по которым стелился высоко и густо древовидный плющ... Везде иноверные

солдаты в шальварах и фесках и громкий крик ходжей с минаретов. Тихими вечерами, внимая этому величавому крику, Алкивиад думал о нетерпимости и ужасах древнего ислама.

Видел он и бедность, и богатство христианских сел, смотря по стране и по нравам жителей. Не длинен горный путь от бедной Сулии до богатых Загор, Но что за поразительный пример! В суровой Сулии еще не вымер эпический быт; там простая пастырская жизнь; там бедность и воинственный дух, не угасший до сих пор; бравые худые лица, строгие усы и великолепная народная одежда. В Загорах мир иной, другая жизнь: богатые деревни, подобные городам, дома чистые, просторные, архонтские, богатые школы, во всех селах большие церкви и высокие колокольни, колокола на них звонят не только для молитвы, но и для того, чтобы собирать старшин на совещание под тень широкого платана.

Он видел на вершине, казалось бы, неприступной горной площади селение Врадетто, где безрыбное, холодное озеро сохраняет иногда и весной на краях своих лед, видел страш-

ное ущелье Монодендри и глубокую пещеру, куда во время волнений скрывались христианские семейства с запасами и добром; по узкой тропе над пропастью к этой пещере можно было проходить в ряд по одному лишь человеку, местами и эта тропа прерывалась, и небольшой мостик, перекинутый в мирное время, легко было снять в смутные дни. Загорцы все проводят полжизни на чужбине; они женятся рано, покидают родину и возвращаются домой лишь тогда, когда разбогатеют; бесплодные каменные горы, кроме леса, ничего не дают им. Тодори завидовал богатству загорских сел и бранил загорцев; он называл их мошенниками и предателями.

– За что? – спросил его Алкивиад.

– За то, что ни один ружья не достоин. Никогда не бунтуют.

Тодори был в этом прав; но Алкивиад привел ему зато в пример десятки имен, которые прославились своими щедрыми завещаниями в пользу школ, дорог горных, церквей и богоугодных учреждений.

– Пусть каждый чем умеет служит родине, Тодори, – сказал ему Алкивиад. – Хорош Мар-

ко Боцарис-сулиот, хорош и мирный эфирот Зосима, который трудился всю жизнь свою на чужбине и дал миллионы на учреждение школ и на пособие бедным христианам. А таких людей между загорцами много. Что скажешь?

– Пусть будет и так! – отвечал Тодори. – И мы, сулиоты, стали думать об эллинских школах; быть может (все думаем мы) не помогут ли нам из России...

«Опять Россия! Еще Россия!» – подумал Алкивиад и вздохнул.

В самом деле, тень северного исполина незримо преследовала его всюду.

Показывали ему в загорском селе прекрасную, разукрашенную церковь... «Эти хорошие образа пожертвованы из России!» – говорили ему.

Он спрашивал на ночлеге у Тодори:

– Где нажился хозяин, который так ласково принял нас в свой дом?

– Сперва в Валахии, а потом в России, – отвечал Тодори.

В глухом горном и бедном монастыре столетний игумен спрашивал у него: «Что слыш-

но оттуда сверху?»

Приезжавший недавно на родину богатый грек собирался взять жену и детей, покинуть навсегда Турцию и поселиться в Новороссийском крае. «Вот где жизнь!» – говорил он. «Суды прекрасные и скорые; спокойствие, свобода и порядок. Набожен человек – церкви и монастыри найдет не здешние, а неописанно благолепные и богатые; роскоши и увеселения ищешь ты – найдешь ли где еще столько увеселений и роскоши как в России!.. Что за место богатое, что за люди хорошие есть там! Откровенные люди!»

Нет спора, что рядом с этим слышал он и вовсе другое...

Итальянец говорит про греков: «Четыре грека – пять мнений».

И в Эпире Алкивиад видел, что итальянцы не ошиблись...

Не только в Элладе, на семи островах, и в Рапезе, но и по всему Эпиру встречал он людей, и таких, как отец его, и таких, как Астропидес, и таких, как дядя Ламприди, и таких, как Тодори, и таких нерешительных в деле мнений, как был нерешителен его почтен-

ный афинский зять.

От двух людей в Эпире он даже слышал и такую мысль, которой не слышал он никогда ни от отца, ни от Парасхо, ни от Тодори; эти люди сказали ему: «Самое бы лучшее, когда бы все это стало одно. Едино стадо и един пастырь! Чего же бы лучше, как один на всех Великий Православный Царь!»

Но один из этих людей был хотя родом и эпирот, но старинный русский подданный; а другой был монах, которого монастырь был, после несправедливой тяжбы, разорен одним турецким беєм и доведен до того, что он мощи в серебряном ковчежце принужден был заложить одному купцу.

Их было только двое, и потому Алкивиада их мнения не испугали и не оскорбили. Кроме такого крайнего мнения, были мнения всякого рода.

Один учитель в Загорах с жаром уверял его, что одно спасение для греков – это принять католичество, что тогда Европа спасет их и от турок, и от варваров-славян.

Другой (мелкий торговец) утверждал, что весь мир трепещет «элинской премудрости»,



что француз, немец, англичанин и русский хорошо понимают, до чего они будут ничтожны, когда элин, расширив свои пределы, обнаружит всю тонкость и возвышенность своего ума! «Русский, например, – прибавил он, – русский только лукав, но грек остроумен, тонок и премудр».

Имя этого патриота было Малафранка; несмотря на хорошие средства к жизни, он ходил везде в истертом сюртуке и в грязной рубашке, без галстука, даже и с визитами. Алкивиад сначала принял его за бедного слугу, одетого по-европейски, и только тогда увидел, что он ошибся, когда Малафранка заговорил о премудрости.

Один богатый купец торговал спокойно; боялся каждого заптие и каждого турецкого чиновника, боялся разбойников, боялся даже грома, но на все рассуждения Алкивиада отвечал грозно: «Сражайся за веру и отечество!»

Другой торговец, который прежде занимался учительством и писал и говорил очень умно и хорошо, был в основаниях одного мнения с Астрапидесом, но выводил другое заключение.

– Примирение с Турцией невозможно, турки сами не верят нам, – говорил он, – надо попеременно и соображаясь с требованиями текущей политики, с целями непосредственными и практическими, опираться то на Запад Европы, то на Россию и, пользуясь их соперничеством, стремиться к великой идее: так шел Пьемонт к объединению Италии, пользуясь соперничеством двух соседних могучих держав – Франции и Австрийской империи. До поглощения Греции славянами Запад никогда не допустит, и потому мы не должны оскорблять и Россию, от которой (можем ли мы отвергнуть это?) видели много добра! Вам, афинянам, удобно искать целей далеких, при вашей независимости. Поживите под игом, и вы не будете так резки и безусловны!

Иные и вовсе отрицали заслуги России; говорили, что Россия грекам только одно добро и сделала: похоронила с почетом в Одессе тело патриарха Григория, брошенного в 21 году турками в Черное море. «Это не эллинизм, а православие!» – восклицали они.

Такие люди чаще попадались между учителями, чем между купцами, монахами и свя-

ценниками; о ремесленниках и селянах мало успел узнать Алкивиад, но те люди, с которыми он еще встречался, единогласно утверждали, что вся толпа за Россию и ждет от нее манны небесной. Одни говорили это с радостью, другие с досадой. Словесники и учителя городские досадовали чаще других.

– Как мудра, как терпелива политика святой России! – говорил один с улыбкой и восторгом.

– Как лукава, как дальновидна политика этой треклятой России! – говорил гневно другой.

Один рассказывал Алкивиаду с удовольствием о том, как в 58-м году в первый раз въезжал русский консул в Эпир. Он ехал из Превезы верхом в сопровождении небольшой свиты. Со всех сторон из дальних и близких сел сбегался народ встречать, и ликующая толпа поселян провожала его целые часы; эту толпу сменила другая, и никакие увещания благоразумного и опытного консула не могли рассеять эти толпы и охладить их радость.

И тут же другой грек говорил:

– Возможно ли хвалить Россию! Что имеет

она в себе хорошего? Судьи лицеприятные издавна; бедный человек не может никогда дожидаться правды; простых людей до сих пор все благородные русские бьют крепко палками; освободили их только для глаз Европы! Россия бедна; Россия должна, газеты все в руках правительства; Россия так бедна и так слаба внутренне, что не в силах помочь нам ни оружием, ни даже дипломатическим весом своим!

Вот Франция – это держава! Это народ... Франция надежда всех угнетенных народов и палладиум свободы.

Что же думали о турках все эти люди: и загорец лукавый, и хвастливый, но воинственный сулиот, и куцо-влах, пастырь на снежных высотах Пинда, и купец, и учитель, и премудрый Малафранка, и бедный сельский поп, и ученый в Царьграде епископ... и меццовский хамал, который ничего не боится и поднимает без труда на плечи 200 ок ноши, и худенький сын архонта, который идет по улице, махая модною тросточкой и боится дотронуться до ружья?..

Что думали они все о турках? Нового вали

все хвалили. Еще в селах слышал проездом Алкивиад, что паша «разумный и справедливый человек». В городах прибавляли: «четыре раза перегнанный человек[23], ума большого, начитанный и деятельный!»

Потом шопотом говорили: оно и понятно – в его роде, как слышно, есть капля греческой крови. Как ему не быть способным?

– Но, увы! – восклицали многие, – одна кукушка еще не весна!

Те, которые охотно соглашались, что прежних ужасов нетерпимости и своеволия нет почти следа, думали, однако, что более человеческих отношений между турками и христианами можно было бы достичь, не нарушая везде местных особенностей и прав. Загоры и соседние места были как бы небольшие республики, подчиненные султану. Теперь они простые уезды, без всяких привилегий. Прежде было опаснее, жизнь была под вечным мечом Дамокла. Жизнь теперь безопаснее; порядка больше; но люди живут не одним порядком; люди хотят и свободы. А свободны теперь меньше прежнего; прежде раз переждав грозу, человек в своих правах, в

своим личным влиянием, в помощи друзей, которых умел приобрести, находил простор; под двойным влиянием большей опасности и большей свободы вырастали люди сильные, умы изворотливые и глубокие для житейской борьбы. И дела, и ответственность, и влияние доставались сами собою в руки таким мужам: был ли то пастух Стерио Флокка, который спас от смерти великого визиря и за это приобрел своей общине неслыханные права; были ли богатый ходжа-баши[24], подобный ходжи-Манту-загорцу, джелепу[25] султанскому, который жил в Царьграде и построил в селе Негадес прекрасную церковь (на задней стене ее, у входа, Алкивиад видел его портрет в шубе и высокой меховой шапке). Таких людей боялись самые свирепые арнауты; и песня есть албанская о том, как загорцы наговаривают на нас в Царьграде султану, – лукавые люди! Был ли то, наконец, горец, христианский капитан, с которым считался и которого ласкал сам кровопийца эпирский Али-паша.

– Где эти великие мужи? – восклицали люди, – нет у нас теперь великих мужей. И не может быть, когда за каждым словом христи-

анина, за всяким шагом его следит уже не прежняя свирепая, положим, но зато более лукавая, более терпеливая, более подозрительная власть, готовая на всякое средство, чтобы внести раздор между самими греками и ослабить их... пользуясь искусно их же пороками.

Так говорили образованные люди. Другие же (и таких было множество) выражались проще, как докторша, знакомая Алкивиаду; они на все отвечали: Турция! что будешь делать!

Когда приходилось хвалить что-нибудь, Алкивиад видел, что хвалили угрюмо, кратко и неохотно; когда приходила очередь хулы (и когда только она не приходила – и по поводу грабежа в судах, которые, к несчастью, вздумали сделать независимыми от пашей, и по поводу дорог, и по поводу колоколов, которых до сих пор нельзя вешать в Янине, и по поводу обманчивого способа выборов в советы и суды, и по поводу слишком свободного ввоза иностранных товаров, и по поводу того, что недавно турки избили и изранили одного игумена и он до сих пор не может дожидаться

удовлетворения (чиновники, должно быть, обманывают честного вали!), и по поводу стеснительного порядка, и по поводу беспорядков и разбоя)... когда доходила очередь до хулы, лица оживлялись, глаза блистали, речь становилась красноречивее... Алкивиад увлекался сам, слушая такие речи, и естественное народное чувство хотя бы и на миг, но брало верх и в его душе над дальними и широкими линиями политических мечтаний!.. Больше же всего его поразили слова одного молодого турка, с которым он познакомился и подружился на пути.

Турок этот был родом эпирот, обучался в военной школе в Стамбуле и служил офицером султанской гвардии. Он приезжал в Эпир повидаться с родными. Алкивиад познакомился с ним в доме одного христианина-архонта, куда офицер изредка хаживал, потому что этот архонт был личным другом его отца...

Офицер этот по имени Вехби-бей понравился Алкивиаду, и Алкивиад понравился офицеру. Вехби-бей не только не был груб или горд, но скорее уклончив и льстив. Прие-



мы его были очень благородны, выражение лица приятно, разговор довольно умен. Он, как эфирот, по-гречески говорил свободно и по-французски недурно.

Алкивиад, возвращаясь в Рапезу, предложил ему ехать вместе.

Вехби-бей согласился с радостью, и они провели двое суток с глазу на глаз, не переставая приятельски беседовать и на коне, и на ночлегах и привалах. Вехби-бей был все время до чрезвычайности внимателен к Алкивиаду; уступал ему в ханах лучшее место у очага, говоря, что военный человек должен больше терпеть; угощал его своею провизией, не давал платить за кофе и вино на привалах; приказывал слуге своему подстилать Алкивиаду самый лучший и мягкий свой коврик и просто пленил афинянина своею вежливостью и благодушием. Сначала они беседовали о константинопольских и афинских увеселениях; о праздниках и об олимпийских играх, которые хотят возобновить в Греции; о прекрасных банях царьградских и о развалинах Акрополя; о некоторых обычаях народных в Эпире и Акарнании... Не забыли, конечно, и о

женщинах. Вехби-бей сказал ему о гаремах одну вещь, которая доказывала его ум даже и тому, кто бы не был согласен с ним.

– Поверьте мне, – сказал Вехби, – наши женщины очень свободны. Покрывало скрывает ее от вас, но вас от нее не скрывает. По закону она имеет во многом у нас равные с мужчиной права; в семье ее влияние велико; редкий муж приступит к важному домашнему делу не спросив жены. У молодых наших женщин кокетства много, и они очень милы. Наконец (прибавил, улыбаясь, Вехби-бей), если мы спросим и о той свободе, которая в моде у франков и которая нам холостым так выгодна... о любви, я хочу сказать... то и в этом случае я прошу вас ответить мне на такой вопрос: когда европейская женщина чувствует себя свободнее, под маской или без маски?.. Я думаю, если бы христианские женщины ходили по улицам в масках, они легче могли бы и преступления сладкие совершать.

Алкивиад, смеясь, соглашался и хвалил тонкость Вехби-бея.

Вехби-бей прикладывал руку к сердцу и скромно благодарил за похвалы.

Наконец Алкивиад заговорил о союзе Турции и Эллады, о братстве и равенстве всех племен на Востоке, об общем враге, о северном исполине.

— Прекрасная вещь мир и согласие всех народов одного девлета. Но это очень трудно, — отвечал бей. Он несколько времени колебался, улыбался про себя, взглянул раза три внимательно и подозрительно на своего спутника и наконец сказал такую речь:

— Я воин-человек, эфенди мой, и политику дурно знаю. Но позвольте мне повторить вам одно слово моего покойного отца. Покойный отец мой был долго пашой в различных областях Турции, был и в Фессалии, и на островах, и в болгарских землях. Умер он недавно, и имя его было Сулейман-паша. Однажды друг один при мне спросил его, кого он больше из христианских народов любит: болгар или греков? Отец мой сказал ему: «Я бы их всех любил, если б они нас любили; но они ненавидят нас. С греком я скорей подружусь, чем с болгаринном: грек смелее, и я могу проводить с ним лучше время; я знаю, он умеет и забыть, что я паша. С болгаринном подружить-

ся невозможно; он все будет запахиваться и застегиваться предо мной, и будет смотреть подозрительно, и будет думать: «Зачем он мне это сказал? Нет ли тут какого вреда!» Это для дружбы. Управлять же болгарами лучше чем греками. Если ты будешь справедлив и не дашь обижать болгар низшим помощникам твоим, дашь им и права большие, он поблагодарит тебя и будет смиренно пастись у Дуная, как добрый вол. Смотри только, чтоб у волов этих не заводились под кожей мухи ядовитые, которые прилетают с Дуная. Тогда вол мечется и опасен. Грека же удовлетворить нельзя. На всякое улучшение и благодеяние твое, на всякую справедливость он будет кричать одно слово: «Народность эллинская!» Теперь же, если ты спросишь, друг мой, меня, где я спал, в вилайетах болгарских или в греческих, я скажу тебе, что спал я слаще в греческих вилайетах, и вот почему. За два месяца до всякого опасного дела я замечу, что у грека и плечи и усы поднялись кверху. Но, если болгарская голова задумала что худое – берегись! Ты увидишь еще больше почтения и покорности, еще чаще услышишь: аман,

аман, эффенди, мы несчастные и покорные слуги ваши! И полу твою брать в руки будут, и с полой вместе и мясо от тела твоего оторвут. И все от почтения». Вот, эффенди мой, что говорил своему другу мой бедный отец.

Алкивиад тщетно старался улыбнуться в ответ на эту умную речь.

До возвращения в Рапезу ему случилось еще перенести и оскорбление, которое он долго после того забыть не мог.

В том самом городе на севере Эпира, где расстались они дружески с Вехби-беем, Тодори поссорился с четырьмя арнаутами.

Они по одежде ли его, по лицу ли, по чему-либо другому догадались, что он христианин, подумали, верно, что он греческий подданный и сильно толкнули его плечом на улице. Тодори вынул ятаган и погнался за ними. Его схватила полиция и отвела к мутесарифу. Мутесариф был сам простой арнаут, греков ненавидел и был гораздо вспыльчивее, чем тот Изет-паша, которому представлялся Алкивиад по приезде в Эпир. Не прошло еще и часу, как Алкивиад и Тодори приехали в этот город; мутесариф не знал их. Он

не стал расспрашивать Тодори, отложил дело до другого часа и велел запереть его в тюрьму. Алкивиад отдыхал с дороги у одного купца, которому его рекомендовали. Самого купца не было в эту минуту дома, и некому было охладить пылкость афинского студента, когда ему пришли сказать люди, что Тодори в тюрьме. Надеясь на свое красноречие, на свои связи, смелость и выгодную наружность, он поспешил в конак и потребовал, чтоб его сейчас же допустили к паше. Его отважный вид и смелый тон открывали ему двери. Паша, однако, взглянул на него сурово и спросил его, кто он, не приглашая сесть. Алкивиад сел сам. Лицо пашы исказилось от удивления и гнева. Алкивиад спросил его тогда: «За что заперли Тодори?» Паша, еще сдерживая негодование свое (увы! отчасти и справедливое, ибо кто же вынесет раздражительную наглость, с которой ведут себя часто молодые демагоги!), опять спросил его:

– А кто же ты такой?

– Я греческий подданный; зовут меня Алкивиад Аспреас, и я могу поручиться за моего слугу, что он честный и хороший человек! –

отвечал Алкивиад.

Паша позвонил и велел схватить самого Алкивиада. В уважение к его архонтской наружности, хорошей одежде и перчаткам, он не вверг его сразу в тюрьму, а приказал держать его в своем конаке, в хорошей пустой комнате, до тех пор, пока узнают, кто он сам и что сделал его слуга.

Выходя из приемной с жандармами, он слышал, как паша гневно воскликнул ему вслед: «Какой же ты поручитель за других людей! Ты калдырим-чилибей[26], побродяга, нам нужны хозяева люди в поручители, а не такие как ты!»

Алкивиад, усталый и голодный, просидел больше трех часов в этой комнате, едва не рыдая от гнева и бессилия; наконец он вспомнил о Вехби-бее, вспомнил о том, что у него есть в этом городе богатые родственники-беи; дал солдату денег и уговорил его отыскать Вехби-бея.

Вехби-бей был в отчаянии, что случилась такая неприятность, взял с собой старика дядю, отыскали и того купца, у которого остановился Алкивиад, пришли все вместе и отстоя-

ли Алкивиада и Тодори.

Отрезвившись, Алкивиад понял, что он был не совсем прав и что могло бы случиться худшее, так как по небрежности или из молодечества Тодори не взял из Рапезы даже тескере на право носить в дороге то оружие, с которым он кинулся за четырьмя арнаутами и обратил их в бегство.

Но осталось у него в памяти неизгладимо, что паша не посадил его, и еще больше то, что он назвал его побродягой и калдырим-чилибеем.

Он благодарил Вехби-бея и его дядю, который обласкал его, как умел, увел к себе в дом, заставил у себя обедать и продержал до поздней ночи. И старик бей и Вехби осыпали его вниманием до утомления, но разговор старика был очень занимателен и простодушен. Алкивиад замечал в нем любопытное сочетание аристократической гордости и беззаботного сознания своей необразованности.

«Мы люди простые, дикие!» – говорил он. «Ваших обычаев не знаем!» Но говорил он это не только с достоинством, но даже с гордостью и почти с презрением к людям не диким



и не простым. Он был очень жив и разговорчив, хвалил христианскую веру и Алкивиада, заметил, что на стене в его гостиной висят два изображения: араба и верблюда, навьюченного гробом Али, Магометова зятя.

Алкивиаду рассказывали о тайной вере арнаутов, о их уклонениях от православного мусульманства. Они знали предания об Али, Магометовом зяте. Когда Али скончался, дети его хотели похоронить его и положили гроб его, по степному обычаю, на верблюда и вывезли за город. На пути им встретился чорный араб; он вызвался вести верблюда. Дети Али отдали ему повод, но он вел верблюда недолго. Скоро и араб, и верблюд, и гроб пророка исчезли от взоров людских... Али вознесся на небо...

Слышал Алкивиад и большее, слышал, будто эти арнауты-бекташи верят, что Али не только пророк и святой зять Магомета, но что Али святыня великая, что Али – все... И Моисей был Али, и Христос был Али, и сам Магомет был не кто иной, как тот же Али!..

О таких-то именно албанцах и говорил ему еще Астрапидес, советуя обратить на них внимание как на друзей христианства... Лю-

безность Вехби-бея и гостеприимство старика расположили его еще больше к этой мысли. Он провел у них вечер очень приятно, и старик бей, чтобы почтить и успокоить молодого гостя, дал ему собственную лошадь и трех слуг-проводников, когда пришло время возвратиться к купцу на ночлег. Город был построен широко, весь в садах и пустырях; надо было спускаться по узким тропинкам; переезжать стремительную речку вброд или по высокому и разрушенному мосту без перил. Один слуга светил впереди фонарем; двое других берегли Алкивиада: не отходили от его узды и стремени и через мост перевели его под руки и пешком. Двое из них были мусульмане, один христианин. Алкивиад разговаривал с ними всю дорогу; они все хвалили бея и сказали:

– Я Имер, он Хамид, а он Николай, и все мы бея любим, как отца, и он нам всем как отец... И все равно ему, что Николай, что Имер, что Хамид...

– А вы любите ли христиан? – спросил Алкивиад Имера и Хамида.

– Любите вы нас, а мы вас любим! – отвеча-

ли Имер и Хамид.

Алкивиад был душевно тронут их доброю речью и вниманием и дал им сколько мог больше награды. Он был в восторге от старого бея, и от Вехби, и от всего этого албанского гостеприимного и древнего дома. Купец-хозяин тоже хвалил бея и говорил, что он добрый старик и ничуть не фанатик...

На другой день Алкивиад пошел проститься с беем и благодарил его много и искренно.

– Я люблю таких хороших молодых людей и благородных, как вы, – сказал ему старик. – По всему видно, что вы из хорошей и благородной семьи. Не все и ваши такие, как вы, извините старика простого и древнего за его откровенность. Иные элины такие негодяи и свиньи, что с ними один разговор – нож и ружье! Знал я одного доктора из ваших, из свободных элинов, пришел, осел, в 67 году ко мне в гости и рассказывает: «Вот скоро и вы все греческими подданными станете; в газетах пишут, что султан видит, что критян одолеть не может, и хочет отдать нам не только Крит, но и Эпир весь и Фессалию»... Счастье его было, что он у моего очага сидел! А не

осел ли?.. Рассердился я, друг мой, на осла этого сильно и сказал ему: «Да кто тебе открыл, господин мой, что мы-то захотим стать вашими подданными?.. И султану я не позволю дарить меня кому он хочет. Пусть силой возьмут дом мой... Я запрущу здесь с сыновьями и верными слугами-турками... И разве мертвого отдадут меня в подданство вашей Элладе». Скажите мне вы сами, друг мой, не осел ли и негодяй был этот проклятый доктор?..

Алкивиад видел, как блистали глаза старого бея, как краснело лицо его при этом воспоминании, и, выходя из дома этого, вспоминал Астрапидеса и себя самого в Афинах...

«О, Астрапидес! – воскликнул он, оставшись один. – Где ж этот союз? Где ж это примирение? Я вижу лишь одно: страх и взаимное недоверие...»

Вспомнил он и дядю Ламприди и его убеждения, что умиротворение страстей в этих странах, доверие и равенство может принести лишь то спокойное и могучее дыхание арктического ветра, которого плоды все видели и вкушали до тех пор, пока здесь не воцарилось лукавое влияние иноверного и алчно-

го Запада!

# XIX

По возвращении своем в Рапезу Алкивиад узнал, что город почти в осадном положении. И богатые и бедные запирались в домах своих еще до захождения солнца. Каймакам требовал усиления войск. Христианские обыватели не доверяли новому пограничному войску худудие, набранному из албанцев-мусульман, точно так же, как и прежде баши-бузуки. Они говорили, что солдаты-худудие только лишь одеты как регулярное войско, в черные шальвары и куртки вместо фустанеллы, но что они душой все те же грабители баши-бузуки. И они и разбойники-греки одинаково знают страну; и они и разбойники одинаково знают по-гречески и по-албански и будут входить в уговоры друг с другом так же, как входили на их месте прежние баши-бузуки. Некоторые из архонтов и в особенности старик Ламприди убеждал каймакама, что следует в Азии или в крайней Болгарии набрать волонтеров из настоящих османлисов; они, правда, не знают страны, как знают ее албанцы, но они привыкнут; а главная

польза в том, что они честнее албанцев и не знают ни по-албански, ни по-гречески, и с разбойниками в соглашение войти не сумеют. Турецкие начальники возражали на это; отзывались дороговизной, затруднялись, ругались, что все пойдет хорошо; но сам молодой каймакам ночей не спал от страха в своем гареме. Турки не верили христианам. На этот раз христиане были искренни. Они боялись Салаяни не меньше турок; но турки им не верили, и когда низамский полковник, по уходе кир-Ламприди из конака, стал повторять его слова с одобрением, чиновники-турки сказали ему: «Хороший ты человек Абди-бей, и веришь этим лукавым людям! Не верь им никогда. У них все политика, чтобы девлету нашему повредить. Не верь ты им, что они так боятся разбойников. Они знают, что ни Салаяни, ни Дэли в самый город не придут; они нарочно запираются и такой страх обнаруживают, чтобы в греческих газетах писали: «вот такая жизнь в Турции; и в Элладе есть разбой, но в городах не боятся», понимаешь, чтоб Европа слушала и жалела их. И анатолийских турок они хотят сюда

привести – для чего? Чтоб еще больше разбоя было, анатолийцы не знают края и не сумеют охранять его; а им это и нужно только, чтобы в крае беспорядок был. Поверь ты, Абди-бей, что самый боязливый грек хоть и будет дрожать от страха, а все не забудет, как бы своему народу добро, а нашему зло сделать!»

– Злой народ! – заметил пристыженный воин. – Злой народ! Когда бы мне 100 000 низамов, показал бы я им нашу силу! Ни одного бы не осталось.

Однако угрозы Салаяни скоро сбылись: в дом Ламприди он не проник, но люди его проникли в предместье, ночью, дня за два до возвращения Алкивиада: они ворвались в дом одного бакала, похитили у него сына заложником, и когда соседи сбежались на крик и пушечные выстрелы, разбойники убили одного из этих соседей за то, что он отбивал ребенка. Раздалась тревога и барабанный бой в крепости, прибежали солдаты; но уже было поздно; разбойники ушли и унесли ребенка. Весь город был в ужасе.

– Где наш апельсинный сад? – спрашивала Аспазия, улыбаясь, у Алкивиада.



– Разве есть собственность и жизнь в этом вертепе варварства? – восклицали иные греки купцы, доктора, учителя и тому подобные люди, которые, впрочем, недурно обделывали свои дела в этом вертепе, пока не было какой-нибудь бури.

Плохая молодежь богатого круга боялась еще больше отцов своих; один только Алкивиад был весел, смеялся над всеми. Его занимало это смятение, и поэзия опасности, которая ему казалась вовсе не большой, ему нравилась.

Тодори тоже был весел и еще больше прежнего прыгал и рассказывал ему всякие рассказы.

– Ты герой! – говорил ему Алкивиад. – Не то, что здешние архонты.

– Что архонты! – восклицал Тодори. – Разве у них сердце есть в груди?

Старик Парасхо тоже не был особенно испуган. Он по-прежнему улыбался загадочно и грустно качал головой.

– Турция! Турция! – говорил он и вздыхал, и глаза закрывались, и опять улыбался, и опять вздыхал и взглядывал молча, то грозно,

то лукаво; и опять твердил: – Турция! Турция!

– Что же смотрит, однако, эта анафемская Европа! – восклицали испуганные люди.

– На то она Европа, на то она Запад, чтоб ей ненавидеть нас за то, что мы православные! – отвечал Парасхо и долго гордился своим ответом и бросал украдкой на всех лукавые взоры.

– Однако, цивилизация! – возразили ему. Парасхо, не отвечая, долго хохотал тихонько всякий раз при этом слове и еще переспрашивал.

– А? цивилизация? Остро! остро! Цивилизация!.. Я люблю остроумие. Запад поддерживает цивилизацию на Востоке! Остро! остро!

Однажды под вечер приехал в Рапезу старый игумен отец Козьма, знакомый Алкивиаду. Он остановился прямо у ворот Ламприди, растерянный и бледный. По седой бороде его текла кровь. Все бросились к нему с расспросами и участием, и он рассказал, что сам Салаяни с тремя молодцами встретил его при выезде из монастыря.

– Ты куда, старче? – спросил его Салаяни.

Отец Козьма сказал, что едет в Рапезу. Са-

Салаяни тогда подал ему записку к самому каймакаму незапечатанную и велел прочесть.

Игумен стал читать. Она была недлинна.

«Бей-эффенди мой! Прежде всего спрашиваю о здоровье славы вашей и кланяюсь вам. И вы потрудились бы выслать с каким-нибудь человеком к монастырю Св. Паригорицы 15 000 пиастров для наших нужд. И мы придем и возьмем их. И если же вы не вышлете к субботе, то мы тебя в самом конаке твоём осадим.

Это я, Павел Салаяни, вашей славе, бей-эффенди мой, пишу».

Игумен со слезами умолял разбойника не давать ему этой записки.

– Ведь турки погубят меня; они обвинят меня в сообществе с тобою! Пожалей же и ты, несчастный, свою душу; не бери ты еще греха смертного на нее.

– Салаяни, – рассказывал игумен, – задумался и не сказал ничего. Я ободрился и стал еще увещевать его. «А ты не забыл ту ночь?» – спросил он потом. «За тобой еще десять лир золотых?» Я сказал: вот тебе пять со мной есть. На провизию в город вез. Подержал Са-

лаяни пять лир на руке; усы покрутил. Дал по лире своим молодцам, а две назад отдал и сказал: «Теперь пост и все морское дешево, довольно с тебя и двух лир. А записку отдай каймакаму». Я опять просить стал. Тогда он велел схватить меня за руки, стащили меня с мула, поставили перед ним и за руки крепко держали. Я сказал: «дай, душегубец, крест мне, попу, на себя положить пред смертью». «Я тебя не убиваю! – сказал он. – А вот тебе что», ударил меня и вышиб мне два зуба. Вот оно, – говорил старик и показывал всем выбитые зубы.

– Вот покажи ты их каймакаму и скажи ему: это мне Салаяни выбил, чтобы вы видели, что я с ним не в уговоре.

– Посадили меня молодцы его на мула, ударив еще его сзади, чтобы скорее бежал, и ушли. А я вот приехал.

Утомленный путем, страхом и болью, старик плакал, рассказывая это.

Вся семья Ламприди была в ужасе. Циция заплакала и ушла; старуха и Аспазия утирали слезы. Алкивиад тоже был поражен жалостью и ужасом при виде страданий доброго

отца Козьмы. Николаки заметил это, подошел к нему и сказал как бы добродушно:

– А что, кир-Алкивиад, и это поэзия?.. Раздосадованный и потрясенный Алкивиад не нашел ничего лучшего ему в ответ, как сказать, что эту жестокость и эту энергию зла, которая так сильна в диком горном народе, можно бы направить на «врага», если б архонты были люди, а не торгоши!

– Да кто же враг-то? – спросил Николаки, улыбаясь. – Ведь с турками мы вместе на славян пойдем, так что и от России одни щепки останутся?..

Алкивиад вышел бледный от бешенства; здравый смысл ржавых людей торжествовал над афинскими мечтами. Старик Ламприди сам повел игумена к каймакаму.

Сестра Алкивиада испугалась наконец его писем из Рапезы; имя Аспазии повторялось в них слишком часто. Она любила младшего брата как мать. Хотя она не была никогда в Турции, но по слухам имела о тамошних родных своих не высокое понятие. Воображая Аспазию в черном платочке, с дурными, церемонными манерами, может быть, крикливую и неопрятную, она утешала лишь себя тою мыслью, что есть же у Алкивиада вкус и что не решится же он, несмотря на пыл своей молодости, жениться вдруг на необразованной и невоспитанной женщине и привезти ее в Афины! «Такой ли брак может ожидать в будущем моего красавца и феникса!» – думала любящая сестра.

Она недолго тревожилась; обдумала дело и написала два письма – одно Алкивиаду, другое старику Ламприди.

Брату она писала так: «Если ты, наконец, *саго тiо*, до такой высочайшей степени влюблен, то что же делать? Шаловливый маленький тиран Эрос – неумолим. Решения этого

милого изверга безапелляционны. Он пронзает своими ядовитыми стрелами сердца более испытанные жизненными бурями, чем твое. Да будет так. Но милый брат мой, если в твоей душе остались воспоминания (для меня они священны!) о той детской колыбели, у которой я проводила ночи, стараясь, чтобы нежная жизнь твоя не угасла, сделай для меня то, о чем я буду тебя просить! Спешి медлительно. Поверь моему доброжелательству и моему опыту. Пусть Аспазия твоя приедет гостить ко мне в Афины. Я постараюсь изучить ее, исправить в ней, что необходимо для новой жизни, которая будет ей предстоять, для того высшего общества, в которое она, будучи твоею женой, вступит. Пусть Аспреас не краснеет за ту, которой он даст свое имя!..»

«Любезнейший и дражайший дядя (писала она кир-Христаки). Не знаю, как выражу я вам то удовольствие, которое я чувствую, читая письма моего Алкивиада. Я надеюсь, что это путешествие нашего юноши и пребывание его в Эпире скрепят новыми узами наши родственные семьи, которые издавна разделены земным пространством, но не идеаль-

ными чувствами. Я заочно, благодаря письмам Алкивиада, присутствую ежеминутно при мирной, нравственной, патриархальной жизни вашего почтенного дома и должна лишь изумляться стойкости и энергии эллинского народного характера, который помог несчастной нации этой сохранить свой быт и свою нравственную чистоту в стране, удаленной от всякого луча просвещения и под варварским игом лютых зверей во образе человека.

Можно ли отчаиваться в великой, славной на всех поприщах будущности такого народа? Не знаю, как выразить почтенной тетушке благодарность отца нашего и всех нас за истинно родственное гостеприимство, оказываемое ею и всем семейством вашим Алкивиаду. Да возблагодарит и да благословит вас Сам Всемогущий Творец!

Расстояние, почтеннейший дядюшка, на котором жили так долго семьи наши, связанные кровными узами, лишало нас долго удовольствия сноситься с вами и знать все подробности вашей семейной жизни. Теперь я знаю, благодаря путешествию брата, имена,



возраст и отчасти и характер всех членов вашей превосходной семьи. Брат от нее в восторге, и, зная ум его, я уверена, что он не ошибается ни на одну йоту. Я знаю коротко милых Цици и Чево; знаю доброго Николаки и дорогую супругу его; сокрушаюсь над несчастьем, постигшим бедного Алексея, и утешаю себя лишь тем, что, по словам брата, глухота его не помешала ему развивать свой ум и свою деятельность. Изо всего вашего семейства меня особенно, впрочем, трогает судьба вашей старшей дочери Аспазии! Какая ужасная, трагическая судьба – лишиться в столь нежном возрасте любимого молодого мужа! Конечно, милая Аспазия должна благодарить судьбу, что она сохранила ей примерных родителей и дозволила ей под отеческим кровом оплакивать свою горькую утрату. Алкивиад прислал мне ее карточку, и, несмотря на всю невыгодную для женской красоты слабость искусства местного фотографа, я вижу, что брат мой прав: она в высшей степени привлекательна. Оттенок болезненности еще более красит ее. Да живет она вам на радость! Брат мой пишет, что она страдает лихорадкой

и что доктора советовали ей перемену места. Это известие подало мне мысль предложить вам, дорогой дядя, привезти Аспазию на полгода к нам в Афины. Что может быть лучше? Она развлечется, выздоровеет и, наконец, – кто знает, – быть может, здесь лучше нежели где-нибудь оценят ее высокие качества и она составит здесь свою дальнейшую судьбу...»

Вся семья Ламприди (кроме младших дочерей) собралась слушать письмо... Глухой присутствовал также; он с любопытством следил за каждым движением родных и спрашивал «что такое?», и когда ему шептали, губами делали знаки, он подавал свое мнение.

Все скоро догадались, в чем дело. Николаки, улыбаясь, грыз ногти в углу и долго не хотел сказать свое мнение; а глухой закричал во все горло, смеясь:

– Алкивиад ее любит! Любит он ее, любит! Это его дела!

Все засмеялись... Мать потрепала глухого по щеке и спросила:

– Так ты как скажешь?.. Посылать Аспазию?

Глухой кричал:

– Не посылать!

Опять все смеялись.

– Отчего не посылать?

Глухой говорил прямо все то, о чем другие думали.

– Обманут ее.

– Зачем? Как обманут?

– Как обманывают женщин. Сделают ее любовницей; этого не скроешь, а потом скажут: «ты развратная»...

– Просто, очень просто ты говоришь! – сказала невестка.

– Устами младенцев говорит иногда сам Бог! – сказала старуха.

Все были довольны глухим. Мать толкнула его в плечо и спросила:

– Да ведь сестра честная женщина. Разве поддастся на обман?

– Женщина! – закричал глухой так решительно и забавно, что отец и брат ударили в ладоши и воскликнули браво!..

Мать, которая более других в семье была расположена к Алкивиаду, заметила еще глухому:

– Бедный Алкивиад, однако ж, такой хоро-

ший молодчик – добрый, красивый!

– Когда бы был не добрый, не хороший и собой дурной, и я бы сказал: айда[27], Аспазия, в Афины марш!

Опять смех. Все были согласны и все были рады.

Старик, однако, возразил, что хотя шутить можно, но семья Алкивиада и все родство его люди благородные и честные, и худа того, о котором говорит Алексей, не будет, конечно. Это все вздор. Но что нет крайности посылать Аспазию в Афины, если она сама этого не ищет, и лишать ее таким образом возможности составить в Рапезе хорошую партию.

– Надо спросить ее самоё, чего желает ее сердце; она не девушка и сама имеет право распоряжаться своею судьбой! – сказал отец.

Пошла невестка позвать Аспазию. И она, краснея, выслушала письмо.

– Много комплиментов, – сказала она. Родные заметили, однако, ее волнение.

Отец спросил ее мнения, ехать или нет в Афины. Аспазия отвечала: «Как хотите вы. Ведь не одна же я поеду, а с вами»...

Из этого ответа все родные поняли, что

ехать ей в Афины хотелось бы. Об Алкивиаде не заговаривали; но вечером мать и невестка пошли с визитом к матери Петала. Самого Петала в это время не было, он уехал по делам в Корфу на короткое время.

Обе старухи и невестка соблюли все предписания вежливости; не начинали очень долго говорить о том, зачем именно пришли.

Спросили и переспросили о здоровье. Хозяйка отвечала как водится: очень хорошо, а потом жаловалась на боль в ногах и слабость. «Очень мне это досадно!» – воскликнула г-жа Ламприди. Невестка спросила то же и получила тот же ответ. «Очень мне досадно!» – воскликнула и она. Потом долго говорили о погоде, о разбоях; жаловались на дождливую весну и холодную зиму.

Наконец, с улыбкой и как бы шутя, старушка Ламприди сказала:

– А мы Аспазию, может быть, с отцом в Афины пошлем. Ее зовет гостить надолго старшая сестра Алкивиада. Знаете, родные!

Невестка помогла свекрови.

– Какая превосходная женщина! Что за ум, что за воспитание! Что за добрая душа. Пись-

мо ее у вас, матушка?

Прочли громко письмо.

В тех местах, где похвалы были очень сильны, старушка Ламприди как бы просила пощады у старушки Петала, качая головой и приговаривая: «Доброта, от большой доброты она это пишет!» Старушка Петала слушала все это с достоинством и холодно.

– Придворная дама – одно слово! – замечала она значительно.

Кончили письмо.

– Сколько ума! – воскликнула невестка. – Видно сейчас, что не в Турции воспиталась женщина!..

– Что вы хотите! – подтверждала старушка Петала. – Где Турция и где Афины! Европейское воспитание!.. Посылайте, посылайте Аспазию, это дело хорошее.

Старушку Ламприди напугало такое равнодушие, и она стала уверять, что сообщено хозяйке лишь по старой дружбе, а что посылать Аспазию в Афины еще вовсе не решено.

– Это больше от нее самой зависит, – сказала невестка. – Вы знаете, не девушка она, а вдова. Свой ум есть – сама свои интересы по-

нять может.

– Что ж интерес! – ответила старушка Петала. – Интересу ей больше в Афинах. Развлечения, общество хорошее. Скажем и то, что вдове, я думаю, там легче и замуж выйти, чем у нас. У нас не так-то любят вдов брать. Да и хорошо делают. Иное дело вдова, иное дело девушка.

– Кто полюбит, и вдову возьмет, особенно из старого очага, – отвечала старушка Ламприди. Она улыбалась очень ласково и лукаво; но противница ее была непреклонна.

– Нынче и старые очаги обеднели! – сказала она.

– Всякий по силам своим, – продолжала г-жа Ламприди. – У Аспазии свой апельсинный сад и виноградник есть. Э! С Божьею помощью и отец пожалеет ее и братья.

– Апельсинные сады не большая вещь. Вот прошлого года от холода попадали все, – возразила старушка Петала.

Так дело ничем и не кончилось. Обе гостьи встали и начали прощаться.

– Будете писать вашему сыну в Корфу, – сказали они, – то и от нас много поклонов.

– Не премину, – сказала г-жа Петала.

– А скоро он возвратится? – спросили гости. Хозяйка дома отвечала:

– Как позволят дела, – и гости ушли недовольные. Однако г-жа Петала с первым случаем написала сыну о том, что Аспазию хотят везти в Афины к сестре Алкивиада. Письмо она не писала сама, а пригласила старика Парасхо, которому, благодаря за труд, сказала: «Скажи старику Ламприди, либо г-же его, что я поклон сыну от них всех написала. Летом в Корфу встретятся они с сыном, если Аспазия поедет в Афины».

Так узнали в семье Ламприди, что мать Петала от брака все-таки не прочь, а все думает лишь о том, как бы побольше взять в приданое.



На следующий день, в сумерки, случилось наконец Алкивиаду остаться на полчаса с Аспазией вдвоем. Когда последняя помеха, Цици, вышла из дверей, Алкивиад воскликнул:

– Слава Богу, мы одни!

Аспазия раскладывала карты и в ответ на это указала ему на пикового туза...

– Это тебе удар, – сказала она с улыбкой и краснея.

Алкивиад приблизился к ней и хотел взять ее руку. Аспазия молча покачала головой и отняла руку.

– Ты знаешь, что Петала за меня сватается?

– Знаю, – отвечал Алкивиад с волнением и досадой, – только это мне не удар; оттого, что ты за него не пойдешь. Ты поедешь к сестре моей в Афины.

– Разве поеду? – спросила Аспазия.

– Что же ты за женщина, если не поедешь...

– Если не поедет со мной отец, не поеду же я одна? Уж не с тобой же мне ехать. Не муж

же ты мне и не брат.

– Это зависит от обстоятельств, Аспазия, может случиться, что я и буду тебе мужем.

Аспазия наклонилась к картам и отвечала:

– Если бы ты был мне мужем, тогда что за разговор об отце. На что отец, когда есть муж. Но ты говоришь: может быть, и не наверное.

На этом их прервали, но и этого было довольно. Аспазия рассказала все матери и невестке. И поздно вечером, когда Алкивиад ушел, начались опять семейные состязания.

Старик сказал свое мнение так:

– Хороший малый, образованный, честный, но состояния теперь у отца мало, есть другие сыновья, еще дети; он привык к роскоши и свободе, годами сам почти дитя, должности еще не имеет; ремесла никакого; политическая карьера в Элладе путь неверный. С падением министра выгоняются чиновники. Быть может, сделает дорогу, а быть может, и нет. Если он сжег ей сердце, пусть делит его бедность и его ненадежную судьбу. Я не запрещаю; она не девушка.

Аспазия отвечала с досадой:

– Никто и не говорит, что он мне сердце

сжег!

Все дело было решено тем, что надо подождать до тех пор, пока Петала не возвратится из Корфу.

– Со старухой не кончишь без этого; она камень была, камнем и будет, – говорили все родные.

А Николаки, который Алкивиада не любил, сказал после Аспазии особо:

– Петала хочет за тобой тысячу двести турецких лир взять. У тебя своего на пятьсот лир есть. Где же ты возьмешь еще пятьсот? А лучше бы за Петалу выйти. Осталась бы с нами и прожила бы век свой спокойно и честно здесь.

Глухой, когда узнал, на чем остановилось дело, стал заступаться за Алкивиада.

– Теперь уже он сватается. Значит, что же тут худого?

– Бедность худа! – сказал Николаки.

Братья долго спорили, совещались вдвоем и решили так: Петала – партия лучше, чем Алкивиад. Только Петала просит много денег; тысячу лир ему не дадут; а надо дать семьсот. Где ж достать двести лир добавочных? Хоро-

шо бы сделать сестре добро; только нельзя же, чтобы Николаки и своих детей разорил; да и Цици и Чево надо сбыть с рук. Аспазия вдова; выйдет или не выйдет, худо только для нее; а Цици и Чево не выйдут долго замуж, бесчестие родне и вечная забота отцу и матери. Что ж Петала хитрит? Можно, если так, и его обмануть. А как обманешь? Дадим своих денег, а с Аспазии возьмем вексель на ее сад и другую собственность.

– Алкивиад и без прибавки возьмет, – заметил глухой.

– Без прибавки; да лучше за Петалу. Грех нам об сестре не позаботиться. Сам же ты ее любишь! – ответил Николаки.

– Очень люблю, – воскликнул глухой и объявил, что если так, то он на свою долю даст ей прибавку и без расписки, а просто в дар.

Семья решилась ждать возвращения Петалы; послали поскорее письмо в Корфу, чтоб он торопился, если не хочет, чтоб Аспазия вышла за Алкивиада.

На другой день по городу разнесся слух, что Салаяни захватил в плен игумена монастыря Паригорицы и требует 20 000 пиастров выкупа. Племянник игумена, молодой монах, живший при нем, проливая слезы, ходил по домам, уверяя, что денег в монастыре нет и что он не знает, как спасти отца Козьму. Салаяни грозился убить игумена, если к субботе не принесут деньги на место, которое зовется Три Колодца, около того обрыва, что в скалах за монастырем.

Взяли разбойники старца в монастырском хану.

У монастыря был свой хан на проезжей дороге, который давал кой-какой доход. Под вечер игумен возвращался домой на муле с пещим мальчиком; вышел Салаяни сам из-за камней на дорогу; взял мула за повод и повернул на горную тропинку. Мальчик прибежал в монастырь. Разбойники ругали его издали и звали назад: «Не бойся, дитя! – кричали они, – иди сюда, дело есть!» Но мальчик как птица летел от страха домой. Должно быть, о выку-

пе хотел Салаяни мальчику приказать.

Слышал только мальчик, что отец Козьма сказал разбойнику:

– Или ты, человек, и утробы не имеешь как другие люди! Что я тебе сделал?

– Айда! Айда! – сказал разбойник.

Привели отца Козьму в его же хан. Уж было темно. Зажгли лампадочку, Салаяни достал из-за пояса чернильницу и написал в монастырь записку о выкупе. Ханджи[28] в это время убежал сам из хана и спрятался. Разбойники достали себе сами вина и выпили, а больше никакого грабежа не сделали, а стали искать кого отправить. Схватили маленькую дочь ханджи, посадили ее на осла, дали ей записку и послали с угрозами в монастырь.

Монастырь был и близко, но девочка была мала, всего десяти лет, и черной ночи, и собак больших, которые из овчарен кругом лаяли, боялась больше, чем разбойников. Она не доехала и вернулась в хан. «Боюсь», – сказала разбойникам. Засмеялись разбойники и сказали: «Бедная!»

– Бедная, это хорошо! – сказал один, – а что нам делать?.. Ханджи, рогач проклятый, где

теперь, кто его сыщет?

– Сыщем пастуха и дадим ему записку.

Ханджи сам все это слышал из убежища своего и думал: «Выйду я или не выйду? Жаль отца игумена; только больше томят они его этим. Но как бы турки пристанодержателем не сочли? Или уж от допроса не избавиться мне? Не станут же на слова одной девочки моей полагаться. Будут и у меня спрашивать. Дело не скроешь».

И вышел. Дали ему записку, и понес он в монастырь.

– Скажи племяннику моему, чтобы большое русское Евангелие и все, что может, снес в город и заложил бы.

Но собирать деньги для игумена было не так-то легко.

Иные не давали вовсе, говоря: «чтоб у монахов да не было денег!» Другие сокрушались о судьбе игумена, восклицали: «Грех! великий грех!», а денег дать не хотели. Аспазия первая, не разговаривая, тихо встала, сходила в свой вдовый сундук и достала из него все, что у нее было наличного – 70 чистых новых турецких золотых. «Вот что я имею!» – ска-

зала она, подавая их монаху, покраснела и мельком взглянула на Алкивиада.

– Эти золотые чисты и прекрасны, как душа твоя! – воскликнул Алкивиад.

– Христос с тобой, Христос с тобой и Божия Мать Всесвятая! – проливая слезы, подтверждал молодой инок.

За Аспазией дал Алкивиад что мог (всего десять лир, денег у него было очень мало с собой, и в тот же вечер он занял у Тодори три лиры на табак и другие мелкие расходы).

Старики Ламприди и сыновья дали под расписку и под залог двух Евангелий, двух кадильниц, нескольких еще мелких серебряных предметов и большого серебряного же ковчежца 100 лир, и надо сказать, к чести их, очень невыгодно, потому что ценность вещей далеко не доходила до этой цены. Старик Парасхо дал под простую расписку 50 слишком лир, восклицая тихо и задумчиво: «Слышали, слышали! На игумена посягнуть! Слышишь, изверги? Слышишь?» Остальные дал митрополит. Старуха Петала и тут осталась как камень: «я не могу без сына», – восклицала она.

Когда деньги были собраны, стали сове-



щаться о том, кого послать с ними. Молодой монах жалел дядю и плакал о нем, но идти сам боялся не только к разбойникам на Три Колодца, но из города даже не решался выходить. Вспомнили в семье Ламприди о Тодори. Тодори с радостью согласился, и Парасхо беспрекословно отпустил его. Надо было видеть, как был рад Тодори такому поручению!

Напрасно обещал ему молодой монах награду за этот труд, он говорил:

– Поминайте меня в молитвах ваших. И пусть Бог наградит меня. Что я за собака такая, что я торговать буду, когда нужно святого игумена освободить? Собака разве я?

Кажется, все было кончено; но узнали турки о том, что деньги собрали и что Тодори идет. Им это не понравилось. Им хотелось поймать разбойников, убить их, а не выкупать игумена. Зачем же посылать выкуп, когда есть власть законная, султанская, когда есть конные заптие и новое пограничное войско нарочно для поимки злодеев?

Позвали в конак старика Ламприди и Тодори. Продержали их до вечера в бесполезных прениях. Кой-кто из местных турок шепнул

каймакаму, что этот молодец Тодори – человек подозрительный, сулиот (а сулиоты – известно, какие люди – все бандиты, ножеизвлекатели, как говорится по-гречески). «Почуть бы его палкой; не знает ли он чего о разбойниках; не в согласии ли он с ними!»

Он еще недавно на площади одного правоверного убить хотел?.. Да и больше его люди, пожалуй, в заговоре. От грека, от христианина всего жди... Как бы нам вред сделать. Это его намаз!

Долго спорили. Тодори ни в чем не казался виновен. Напрасно турки строго глядели ему в глаза; Тодори и не понимал, казалось, их угроз и намеков. Он был почтителен, но смел.

Турки остались также очень недовольны на этот раз самоуверенными, самобытными приемами старика Ламприди и особенно тем, что он сказал:

– Я лучше знаю страну.

Однако делать было нечего, многие из турецких офицеров согласились с тем, что надо прежде спасти игумена и что послать войско сейчас, значит обречь бедного старика на вер-

ную смерть. Тодори отпустили, и он еще до рассвета отправился в путь. К несчастью, поздно ночью пришел запрос от вали по телеграфу: «Что же сделано для поимки Салаяни?» Каймакам трепетал пред начальством, все благоразумие его тотчас же пропало.

– Вали хочет голову Салаяни. Неси мне голову его! – воскликнул он.

В получасе ходьбы от города Тодори нагнали пешие и конные турки с двумя офицерами.

Тодори вздыхал, уговаривал их вернуться и подождать.

– Убьет он игумена, а мы его не убьем! – воскликнул он с отчаянием.

– Иди, иди! Показывай дорогу нам. Или ты ума лишился? Кто больше, каймакам-бей или ты, осел?

Тодори пошел. Несколько из албанцев, которые знали дорогу еще лучше его, спросили: зачем же им чрез Вувусу идти, когда можно ближе и прямее, чрез горные тропинки!

– Как бы деревенские не дали знать Салаяни?

– Да нельзя ж и не дать знать, – сказал офи-

цер. – Надо, чтоб он знал, что этот человек ему выкуп несет. А мы скроемся.

Турки остались за горой, а Тодори пошел в Вувусу. Албанцы-худудие говорили без него офицерам, что он непременно даст знать Салаяни и что он выкуп отложит до другого дня, и что разбойник уйдет.

– Зачем ему это сделать? – спросил офицер.

– Из злости, – сказали албанцы.

Тогда один конный заптие и один из офицеров сели на лошадей и поспешили нагнать Тодори у самой Вувусы.

Что было делать Тодори? Сказать им: «напрасно вы это делаете; как бы деревенские ему не дали знать». Это было обвинять своих в преступном пристанодержательстве. Тодори, однако, уж не слишком тревожился; он был уверен, что Салаяни игумена не убьет, а подождет до вечера; потом опять уйдет в горы со старцем, дожидаясь выкупа. Наложить руку на духовное лицо – такой смертный грех, который и разбойнику не прощается. Стали посылать кого-нибудь из деревенских к Трем Колодцам. Никто не шел. Кто боялся, кто просил помилования; офицеры угрожали.

Крестьяне клялись, что так будет хуже, что лучше всего Тодори идти одному с деньгами.

Прошел час. Пока совещались, пока офицеру изжарили курицу и сварили кофе, пока он выкурил несколько сигар, – прошел другой час.

Салаяни между тем долго уж ждал, скрывшись за Тремя Колодцами с десятью молодцами. Игумен не связанный ни веревкой и ничем другим сидел тоже пригорюнившись на земле за кустом и перебирал четки, припоминая все молитвы, которые знал. Прождали долго: проголодались (день был постный, и разбойники и сам игумен с утра кроме хлеба и маслин ничего не ели); вино, которое они выпили натошак, мутило им голову. Все были сердиты и почти не говорили между собой. День стоял сырой и невеселый.

– Анафема отцу его! Собачий сын! – сказал про Тодори Салаяни и послал одного из молодцов повысмотреть осторожно, не идет ли Тодори. Молодец вернулся чрез полчаса и воскликнул бледный: «Пропали головы наши, человече! Тодори нет; а два десятка худудие и низамов под Вувусой собралось».

– Не врешь? – спросил Салаяни.

– Вот тебе хлеб мой! [29] Вот тебе вера моя! – воскликнул молодой разбойник.

Игумен был утомлен голодом, ожиданием, ходьбой и страхом; схватившись руками за колена, он уже стал дремать и не слышал этого разговора.

– Не лжешь? – переспросил еще Салаяни с беспокойством и грозно.

– Верь ты мне! Верь ты мне, господин Салаяни! Верь ты мне, хороший мой! – умолял его юноша.

Салаяни сбросил бурку и вынул пистолет.

Другие разбойники не успели выговорить слова, как он подошел сзади к игумену и выстрелил ему в затылок.

Когда старичок упал и утих навеки после мгновенных содроганий, все разбойники онемели. Иные перекрестились; другие плюнули и сказали с ужасом на бледных лицах:

– Это дело худое! Христос и Панагия, такого худого дела мы еще не видали, не слышали мы, чтобы христианину да игумена бы убить.

Молодые разбойники были особенно перепуганы; они пророчили себе беду и молча

спешили по камням и кустам за своим предводителем, который опять завернулся в бурку и прыгал с камня на камень, удаляясь поспешно с места своего ужасного преступления.

Когда он и вся шайка его были уже вне опасности, он обернулся и сказал:

– Турки, я думаю, слышали выстрел мой?.. Никто не отвечал, и Салаяни не разговаривал больше. Через полчаса после бегства разбойников от Трех Колодцев подступили к ним ближе турки.

Конные спешили еще гораздо раньше, чтобы подковы не стучали по камням. Пешие худудие врассыпную залегли за камнями и кустами.

План был такой: Тодори пойдет один открыто, отдаст деньги, освободит игумена и отведет его подальше на дорогу. Как только игумен отойдет прочь, так немедленно должны начаться преследование и перестрелка.

Тодори спустился к Трех Колодцам. Сначала дорогой ему думалось, как бы не убили его разбойники за измену, за то, что привел с собой турок. Потом, рассчитывая на оплош-

ность турок и на зоркость разбойников, он стал думать, что они давно ушли и увели с собой игумена.

Так размышляя, Тодори оглядывался и не видел ничего вокруг. Три высохших колодца были уже позади его; он взошел на ровную площадку за высокою скалой; еще раз осмотрелся; кроме травы высокой и камней нет ничего... Еще сделал шаг, увидал, что трава стоптана кой-где; увидал окурок сигары; увидал, наконец, корку хлеба и нашел около нее несколько обглоданных косточек из маслин; завернул еще за один камень и увидал труп игумена. Старик лежал лицом вниз; на седой бороде его была видна кровавая пена; одна из рук, опрокинутая вверх ладонью, была вся в земле и в зелени. Умирая, он, видно, впился пальцами в землю и вырвал клочок травы.

Тодори закричал, и турки все сбежались на его крик.

Долго стояли они и долго жалели и удивлялись жестокости Салаяни.

– Не собака разве этот человек! – сказал пожилой турецкий офицер. – Много я видел худа на свете, а не видал, чтобы человек своего



ходжу, своего учителя так убил.

Оставили при трупe игумена Тодори с десятком низамов, ушли в село и послали оттуда старшин христианских и народ весь взять тело и принести в село.

Какое в селе было негодование, кто расскажет!

Пан-Дмитриу ругал и клял Салаяни, и жена его плакала, глядя на труп игумена.

Капитан Сульйо сказал:

– Надо убить этого злодея! – И потом еще прибавил: – Оно так и будет. Еще старые наши люди говорили: когда разбойник руку на попа либо монаха поднял и убил его, то и ему пропасть вскорости.

И низамы турецкие соглашались и говорили:

– Что за слово! Говорят, ходжа, учитель ваш!

Когда Тодори уходил, Пан-Дмитриу сказал ему тихо: – Ты скажи кир-Христаки, что я на днях приду к нему по хорошему делу. Пусть будет покоен!

## XXIII

**И** в городе скоро узнали, что Салаяни убил Игумена. Негодованию не было меры; и турки, и христиане были одинаково поражены. Каймакам телеграфировал генерал-губернатору, и через три дня в Рапезу приехал по особому поручению мутесариф, не превезский, а другого города.

Христиане говорили друг другу, что этот мутесариф лихой и что он, может быть, одолевает разбой.

Все радовались и рассказывали друг другу историю этого паши. Он был родом из дальней Азии; бунтовал там против турок; был схвачен и сослан на долгое житье в Европейскую Турцию. Один паша узнал на Дунае, говорили люди, этого изгнанника; полюбил его и выхлопотал ему не только прощение, но даже должность мутесарифа.

Говорили люди, что его любят посылать везде, где нужна строгость и старинная простота, что в этом есть глубокая политика: «да не падет прямое обвинение излишней строгости или грубого обращения на высшее на-

Чальство».

Рассказывали также, что мутесариф фанатик и христианоборец страстный, что у него все по-старому, четыре жены, что он совершал бы охотно ужасные дела, если бы смел; но в руках просвещенной власти он стал лишь полезным орудием строгости.

Все находили, что для трудного положения, в котором находился край, такой человек может быть очень пригоден.

Мутесариф точно созвал на совет всех тех людей, которые могли знать дело.

Разослал по деревням печатное объявление, которое приглашало всех селян способствовать поимке Салаяни. Грозил ссылкой в Виддин всем тем, которые будут уличены в пристанодержательстве. Сам ездил в некоторые деревни, уговаривал, грозил и обещал награды.

Один день все было поверили, что разбойникам пришел конец. С элинской границы дали знать на ближайший военный турецкий пост, что шайка Салаяни перешла границу и преследуется греческими войсками. Греческий офицер предлагал турецкому захва-

тить шайку в лесу с двух сторон. Турки вступили в лес; офицер турецкий шел впереди и высматривал; разбойники выстрелили и убили его и одного солдата. Воодушевленные гневом, турки ринулись в кусты; разбойники отступили, отстреливаясь; турки все шли вперед, надеясь на поддержку греческого войска, которое должно было быть в тылу у разбойников. Лес кончился, разбойники пропали; греческого войска не было и следа.

Так жаловались турки. Греки свободного королевства, напротив того, жаловались на турок, уверяя, что они искали только прогнать Салаяни в Элладу, а не схватить его.

Пока мутесариф старался и принимал всевозможные меры, и все было напрасно – судьба Салаяни была уже помимо его решена людьми деревенскими, которых возмутило последнее его преступление.

Пан-Дмитрию пришел сперва на дом к Парасхо; долго говорил с Тодори, и они вместе пошли к кир-Христаки и совещались с ним.

– Пора бы давно тебе! – сказал кир-Христаки. – Мало тебе и того, что тебя рогачом люди зовут.

На что Пан-Дмитриу ответил опять то же:

– Худые слова, эффенди, от худых людей идут, а я смотрю на то, что этот человек великое злодейство совершил! Слыхали ли люди – игумена-старца убить!

Кир-Христаки ответил ему на это:

– Когда так, Панайоти, я поведу тебя к мутесарифу.

– Веди, эффенди! – сказал Пан-Дмитриу.

На другой же день шестьдесят человек турецких солдат ушли в Вувусу, и к вечеру разнеслась в городе весть, что Салаяни убит вместе с несколькими товарищами.

В самом деле, в город скоро возвратились вместе с турками несколько вооруженных селян, и Пан-Дмитриу с почтительным поклоном вынул из мешков головы разбойников и положил их у ног мутесарифа.

Радость паши была неописанная: но, приписывая все своим распоряжениям, не подозревал, что не согласись Пан-Дмитриу выдать своего друга, он бы ничего не сделал.

И Алкивиад подумал: «Не оскорби Салаяни религиозного чувства Пан-Дмитриу и других сельских греков – не увидал бы мутесариф

пред собою бледной и окровавленной головы Салаяни».

Мутесариф телеграфировал генерал-губернатору, генерал-губернатор благодарил его и приказал снять с мертвых голов фотографии, если в Рапезе есть фотограф.

Фотограф, хотя и не слишком хороший, был в это время в Рапезе, и через несколько дней на базаре вывесили портреты убитых разбойников.

Алкивиад пошел тотчас же посмотреть [их] и купил себе одну карточку.

На самом верху, в середине висела голова самого Салаяни. Он был убит пулей в грудь, и лицо его не было обезображено. Усы еще были подкручены кверху, глаза полуоткрытые, как будто хранили еще выражение хитрости и самодовольства, которое заметил в них Алкивиад при первом свидании.

Другие лица были более изувечены сабельными ударами, а внизу висели головы двух очень молодых разбойников, еще безбородых; у одного из них лицо имело жалобное, детское выражение; казалось, он кричал и просил пощады. Голова другого была так раз-

бита пулей, что фотограф долго не знал, как повесить ее и, наконец, прибил ее гвоздем к сукну на стене за клочок кожи на полу отбитой кости лба.

– Геройские греческие души! – сказал Алкивиад. – На что истратилась ваша неукротимая энергия! – и глубоко вздохнул.

Некоторые турки шутили с христианами: «Вот вы, эллины, все говорите, что мы, турки, вперед нейдём! В старину мы резали головы и фотографий не снимали, а теперь тоже режем головы и снимаем фотографии».

Греки отвечали на это: «Кто же, эффендим, говорит, что Османли-Девлет нейдет вперед. Это говорят люди безумные, а благоразумные люди не говорят этого».

Один только архонт, посмелее других, ответил тоже шутя:

– Не турки изловили Салаяни, а греки деревенские; не турок и фотографию делал, а грек же!

– Много ты разных слов знаешь, человек! – с досадой заметили ему на это турки.

Архонты, после смерти Салаяни, вздохнули свободнее.

Кир-Христаки в меджлисе от имени христианского общества благодарил мутесарифа за его старания, и митрополит тоже поддержал его слова.

Алкивиад спросил у Аспазии, пойдет ли она теперь гулять в свой сад?

– Теперь пойду! – отвечала Аспазия и на другой же день с утра собралась на прогулку.



## XXIV

Петала еще не возвращался из Корфу, и мать написала ему второе письмо, в котором уговаривала возвратиться скорее. «Не было бы после поздно, ты сам знаешь», – писала она.

Жена Николаки была недавно у старухи и спрашивала, как здоров кир-Петала и что пишет. «Здоров, – отвечала мать, – и кланяется вам». Больше ничего невестка Аспазии от нее не узнала.

Николаки рассердился на старуху за это и с досады на нее уговорил даже Аспазию идти под руку с Алкивиадом на прогулку в сад.

– Оставь эти ржавые вещи, эти предрассудки, – кричал он Аспазии. – Вот теперь и город скоро кончится. Кого ты боишься?

Но Аспазия решила подать руку Алкивиаду только тогда, когда последний городской дом скрылся за садами. Ей и самой это было «чуть-чуть» приятно, но она сначала беспрестанно оглядывалась и краснела.

Николаки с женой шли сзади их и смеялись.

– Нет! – воскликнула Аспазия, – я не могу больше. Вы надо мной смеетесь.

– От радости, душка моя, от радости смеемся, – сказала невестка.

А Николаки предложил жене уйти вперед, чтобы сестра не стыдилась.

Так прогуляли часа два слишком. Пили кофе и ели апельсины в саду Аспазии; пели песни все вместе; заходили в гости к игумену одного монастыря, под самым городом, на камнях на горе сидели, смотрели, как учились на лужайке турецкие солдаты. Офицер турецкий, приятель Николаки, подсел тоже к ним и хвалил христиан, а Николаки и Алкивиад хвалили турок. Так все было мирно и весело, и весна была на дворе, и солнце грело, и лимоны уже расцветали, и птицы громко чиликали.

Аспазия возвратилась домой румяная и веселая.

Она и дорогой все хвалила и радовалась. То говорила: «Какой воздух хороший!», то: «как пахнет хорошо от лимонов!», то показывала на реку и говорила: «Вот как бежит вода по камням, все бежит и бежит!» Алкивиад

был рад еще больше ее. И как ему было не радоваться; он несколько раз успел поцеловать ее дорогой, и она не очень противилась; только говорила: «Скорей, скорей! чтобы не увидели».

В монастыре им пришлось даже и довольно долго обниматься и целоваться, потому что Николаки вышел с игуменом, а жена его заговорила надолго в другой комнате с параманой монастырской.

Аспазия тут уже и сама обнимала его, краснея и целуя его прямо в губы, опять шептала:

– Вот увидишь, поймают нас люди! Скорее, морé, оставь меня скорее.

А сама не оставляла его.

На другой день опять пошли гулять, на третий тоже, в другое место. Бледное лицо Аспазии становилось все моложе и свежее; глаза блистали иначе, не так, как блистали прежде, но гораздо веселее.

Алкивиад целый день пел итальянские арии и греческие песни.

В последнее воскресенье на Пасхе, перед Фоминой неделей – только не пошли гулять, потому что в пятницу приезжал капитан

Сульйо звать кир-Христаки со всею семьей в Вувусу – поесть барашка молодого, изжаренного на большом деревянном вертеле и с разными душистыми травами.

Женщины отказались ехать верхом так далеко; но Алкивиад, кир-Христаки, Николаки и еще кой-кто из молодых людей согласились с удовольствием. Теперь Салаяни уже не было, и старик Ламприди не боялся; однако все-таки для порядка пригласили с собой и старого кавасса Сотири.

Алкивиаду все улыбалось, все было весело. Он с радостью ехал и в Вувусу, и что была за выгода оставаться дома? Если Николаки уедет, с кем пойдет гулять Аспазия? А теперь, после трех прогулок и стольких поцелуев, сидеть с ней при матери и при сестрах или играть в карты – уж казалось скучнее прежнего.

Он всю дорогу до Вувусы опять мучил свою лошадь, скакал вперед и возвращался, обдумывая, обручиться или не обручиться с Аспазией... За согласие своего отца он ручался.

В Вувусе провели время прекрасно. Братья Сульйо помирились, и обе невестки были веселы; Василики пожеманнее и поскромнее;

Александра – посмелее и поглубе.

Архонты смотрели на нее, как она шутила с ними, и думали все: «была ли она в самом деле любовницей Салаяни? И если была, как же она так веселится... Или только корысть одна руководила ею?»

Она поднесла всем мужчинам букеты, и Николаки сказал ей:

– Цветок от цветка, кира-Александра, я теперь принимаю...

– Так ты говоришь мне? – ответила красавица. – Уж слишком большую честь, господство твое, деревенской такой, как я, делаешь!..

Муж казался доволен.

Пошли потом все мужчины на гору, отнесли туда барашка, сыр хороший и вино, постелили красные меццовские ковры для господ. Ели, пили, захотели петь песни... И капитан Сульйо сказал брату:

– Позови мальчика того, который про Салаяни новую песню поет хорошо.

Тогда узнали, что про смерть Салаяни уже сложили небольшую песню. Пришел мальчик с деревни, лет двенадцати, здоровый и

смелый. Его угостили, и он запел песню о разбойнике Салаяни:

*Как в том году, в семидесятом,  
Клялись они Евангельем,  
Клялись и соглашались:  
Убить его со всею шайкою.  
Поднялись и отправились  
К паше мутесарифу.  
«Обида нам, Мехмед-паша!  
Беда от Салаяни!»  
«Скажите мне, райя мои  
И ты, мой Пан-Дмитриу,  
Что надо вам и что хотите?»  
«Дай войска мне отборного,  
Числом давайте со сто...  
Ты дай еще двух христиан,  
Зовут же их: – Сотирий Дума  
Да Тодори, поповский сын.  
Отдам я вам разбойников.  
А нет – так свою голову!»  
Дают низамов шестьдесят  
И с ними двух крещеных.  
Пошли они и заперли  
Его у Айтанаси.  
Когда утром проснулись  
Они вокруг привала,  
То нападенье сделали  
Крещеные и турки.*

На Салаяни бросились  
Со всею вместе шайкой.  
Тогда своим товарищам  
Так Салаяни молвил:  
«Нас съел собака дикая,  
Нас съел тот Пан-Дмитриу!»  
Они тут взяли семь голов,  
(Пораненых же двое).  
Они их в хюкумат вели,  
Вели к мутесарифу.  
«Не говорил я бре![30] – Мех-  
мед-паша,  
И вы все бре – меджлисы.  
Что Салаяни мы побьем,  
Побьем со всею шайкой?»  
И молвил им Мехмед-паша,  
И молвил им меджлис весь:  
«Ну, христиане, браво вам!  
Тебе хвала, наш Пан-Дмитриу!»

Все хвалили песню; Алкивиад бил в ладоши и кричал браво. Заставили мальчика повторить еще раз. И сам старик Ламприди подтягивал и веселился.

– Очень люблю я наши эти сельские песни! – восклицал он. – Умираю за них.

– Вот, дядя, – сказал ему на это, смеясь, Алкивиад, – не было бы разбойника, не было бы

и песни.

Спросили, кто же сочинил эту песню, и узнали, что сочинил ее сам Пан-Дмитриу. Брат указал на него и сказал: «Сам убил, сам и хвалится!» А Панайоти приложил руку к сердцу и скромно улыбнулся, благодаря гостей за похвалы.

Алкивиад хотел записать эту песню, и Пан-Дмитриу, вынув тотчас же медную чернильницу из-за пояса своего, записал ее на бумаге и подал с поклоном Алкивиаду. Веселились до самого вечера. С горы вернулись в деревню, где начали уже сельские люди плясать. Старый Сотири отличался больше всех; он был одет щеголем в этот день, в золотой куртке, в широкой фустанелле, и приятно было видеть, как усатый старик танцевал легко и нежно, выступая и прыгая, как барышня или птичка. Вмешались в танец и все молодые архонты. Капитан Сульйо был неутомим, он сгонял всех женщин и молодых и старых, чтоб и они плясали; привел и Александру, и свою жену; плясал и сам, иначе, чем Сотири, не так нежно, но зато отчаяннее.

— Давай по-зицки, как в селе Зиуе пля-



шут! – кричал он.

Уже и музыканты-цыгане были утомлены; а Сульйо все пел, все командовал, все кричал, все плясал, наконец уже вприсядку, почти не вставая с земли.

*Красная яблонька моя писаная, —*

кричал он припевая, и хор подхватывал еще громче за ним:

*Красная яблонька моя писаная.*

И господа все, и Алкивиад, и Николаки, и старик Ламприди были навеселе и пели громко с селянами.

Наконец поднялся и сам кир-Христаки, сбросил пальто, взял Василики, жену капитана Сульйо, и прошел с нею таким молодцом, что молодые ему позавидовали. Никто из них не умел так плясать. Кира-Василики тоже была очень мила. Нагнув головку набок и опустив глаза, она очень нежно держала платок, который соединял ее со старым архонтом; и люди не знали, на кого смотреть – на капитаншу молодую, или на седого хвата и красавца капуджа-баши султанского!

Выехали из Вувусы архонты, когда уже солнце садилось. Музыка провожала их долго, больше получаса. Множество селян больших и детей шли за ними почти до реки, а капитан Сульйо и брат его поэт – до самого города.

Алкивиад возвратился хотя и довольный, но очень усталый и поехал прямо в дом Парасхо, не заходя к Ламприди.

Он просил Тодори постелить скорее постель и едва слышал сквозь дремоту, что Парасхо сказал ему:

– Сегодня Яни Петала из Корфу вернулся.

– На здоровье! – ответил ему на это Алкивиад и лег спать.

Через два дня Аспасию обручили с Яни Петалой.

Не был ли Алкивиад огорчен через меру? Не было ли растерзано его сердце?

Нет! Он был еще очень молод, и любовь его еще не стала привязанностью... Она была тем чувством, которое греки называют поэтически *эрос*, а не тем, что по-христиански зовется *агапи*!..

Нет милой жены, но зато есть свобода отыскать другую, еще более милую.

Он отыщет, конечно, без труда такую, которая лучше Аспасии оценит и черные очи его и приемы его, облагороженные воздухом корфиотским, более барственным, чем воздух Эпира и Афин; и высокие гражданские чувства его более живые, чем чувство Петала, и (казалось ему!) более солидные и глубокие, чем чувства приятных и благовоспитанных, но легкомысленных корфиотов, одним словом, афинские чувства... Он думал лишь о чувствах теперь, о бесконечной преданности своей эллинизму... Мысли же его, он сам это

видел после поездки в Акарнанию и Эпир, поколебались и смутились.

Доживая последние дни в Рапезе, перед отъездом домой, он страдал больше всего от самолюбия, от подозрения, что иные смеются над ним, как над несчастным соперником Петалы, а другие унижительно жалеют его. Вот что было ему больно. Однако из гордости же остался он нарочно еще две недели. Присутствовал при обручении, танцевал, пил вино и пел песни на ужинах и вечерах, которые под цыганскую музыку давали архонты в честь Аспазии и Яни Петала.

Аспазия сняла свои темные вдовьи платья и являлась уже в платочках, вышитых золотом, в разноцветных шолковых платьях, один раз в розовом с лиловыми и белыми цветами; другой раз в голубом с голубыми же цветами; третий раз в лиловом; румянец у нее стал сильнее, глаза выразительнее от радости; и новая шубка на хорошем меху, крытая золотистым атласом, особенно ее красила.

Она сначала все улыбалась и даже краснела, когда в комнату входил Алкивиад, и родные не раз тоже переглядывались, улыбаясь.

Но скоро и Аспазия привыкла, и достоинство, с которым Алкивиад вел себя, внушило всем уважение... Он с ней шутил по-прежнему, трогал даже ее волосы и обещал ей при самом Петале прислать им на свадьбу стихи из Афин. Он хотел сочинить их по образцу эпических песен эпирских горцев.

Мучимая ли его равнодушием или, напротив того, довольная его веселостью, Аспазия наградила его за день до отъезда так, как он этого и не ожидал...

Жена Николаки, которая была очень дружна с Аспазией, пригласила его посидеть на минуту на свою половину. Там была и вдова-невеста.

– Ты хочешь на свадьбу мою написать стихи, ты бы лучше песню на разлуку нашу написал! – сказала ему Аспазия, когда невестка вышла зачем-то и оставила их одних. Потом она встала, осмотрелась, покраснела вся и начала целовать Алкивиада крепче и страстнее, чем целовала его в саду...

Занавеска на дверях, однако, скоро колыхнулась, Аспазия отошла от него, приподняла занавеску и сказала невестке:

– Что ж ты так долго нейдешь?.. Алкивиад ждет тебя.

После этого самолюбие уже вовсе перестало мучить Алкивиада. Он видел, что Аспазия будет женой Петалы, потому что родные хотят этого и потому, что он богаче, но что сердце ее принадлежит ему, это он оживил Галатею.

Выезжать ему пришлось из Рапезы таким же прекрасным днем, каким пришлось и въезжать в нее в день Байрама. Но тогда был зимний ясный день; а теперь была весна: ярче зимнего зеленели долины между скал; сильнее зимнего был Амвракийский залив; апельсиновые сады благоухали несказанно, тихо роняя на землю цвет... Веселее зимнего бряцали козы и овцы по холмам колокольчиками, и чище белела в полях родная фустанелла хлебопашца.

Еще раз прощаясь с этим краем и тихим и бурным, Алкивиад подумал о том, кто же поможет развитию его жителей, и вспомнил отца.

– Греко-Российской церкви мы поклоняемся, человече...

О союзе Эллады с Турцией против славян он уже и не думал: он не верил в него. Естественное чувство грека проснулось в нем; он уже не судил Турцию, как умел судить прежде; теперь всякий суд его кончался осуждением.

Он за все теперь готов был винить не столько турок, сколько государство турецкое...

И за разбой в самой Элладе, ибо в ее теперешних границах нет простора эллинской энергии, и за то, что христиане-архонты в Равенне и других городах слишком сухи, и за то, что сыновья их робки, и за то, что скатерть в доме дяди не чиста, и за то, что дочери архонтов так холодны и безгласны в деле любви.

Он уже не презирал своих добрых гостеприимных родных за то, что они предпочли ему хамала – Петалу; он жалел их!

Врожденной во всяком греке ненависти к туркам он уже не противопоставлял теперь мечтательное и бесконечное будущее; он стал смотреть проще и, если хвалил он что особенно в родных и знакомых своих, то это здоровое чувство, которое обращало их взоры на Се-

вер... Он вспоминал часто дорогой и притчу отца Парфения о земледельце неразумном, который не пашет широкого поля восточного, а смотрит все на гору каменистую, где живут бедные родственники богатого бея.

Проезжая через Превезу, Алкивиад опять остановился у доктора и сказал жене его:

– Вы были правы, кирия, Турция, все Турция виновата! Нет спора – те времена прошли давно, когда христианка боялась выйти на улицу, когда всякий мог оскорбить ее. Нет спора, никакой турок не мешает теперь христианским женщинам гулять, танцевать, развивать свой ум и сердце; турку нужно одно, чтобы не бушевали. Но, клянусь вам, кирия, вы все-таки правы. Эта тяжелая, угрюмая, вялая жизнь, которую ведут здесь наши женщины богатого круга, это отсутствие фантазии и изящного кокетства... Отчего все это? Вы правы, кирия, – это Турция. Источники этого кроются в дальнем прошлом, в истории этого края. Один год свободы политической жизни и движения подействует глубже на самый быт и нравы, чем столетия того постепенного и медленного хода, который возможен те-



перь. Школы? Что такое школы без жизни и свободы нравов; я говорю о свободе нравов, проникнутой, однако, тою высокою нравственностью, которая сопровождает христианский идеал, которая так тесно связана с ним.

Докторша все это время стояла перед ним, почтительно внимая, и когда он кончил, сказала приятно:

– Садитесь, прошу вас. Как ваше здоровье? Алкивиад опять рассердился на нее и, быть может, ответил бы ей не совсем вежливо, если бы, к счастью, сам доктор не вошел в эту минуту.

Алкивиад с глазу на глаз излил ему всю свою досаду на общество архонтов в Турции и особенно на женщин.

– Турки лучше их! Я прежде о турках думал гораздо хуже: но о Турции думал несколько лучше, – сказал он искренно. – И едва ли вам покажется парадоксом, если я скажу вам, что чем лучше турки, как люди, сравнительно с нашими архонтами, тем, значит, хуже Турция, как держава, ибо христианину городскому и грамотному предоставлен в ней один

лишь путь к влиянию – деньги и торговля. А одна торговля и торговля всегда понижает ум и дух!..

Доктор согласился с ним и прибавил, понижая голос (чтобы жена не слыхала его из другой комнаты):

– Грубость и холодность, друг мой, большая! По ремеслу моему, мне нередко доступны и турецкие гаремы. Я жил и в Константинополе. И что же? С досадой, со стыдом, с ужасом я должен сознаться, что турчанки милее, в них больше грации и жизни, чем в наших хозяйках! Властительное положение мусульман в государстве, открытый им военный путь, их прежнее богатство и роскошь оставили до сих пор следы. Турок умеет иногда быть великодушен, наш архонт никогда; турчанка умеет быть иногда гурией, балованным ребенком, цветком, украшающим жизнь... Жена бедного грека, вышедшего из ничтожества лишь трудом и скупостью, должна была стать лишь честною и скучною хозяйкой!.. Это явно!

– Послушайте, друг мой, – продолжал доктор, еще больше понижая голос и вздыхая. –

Вы видели супругу мою? Она честная женщина: послушайте меня, и вы увидите ясно и поймете все, что я перенес. Супруга моя, по желанию отца ее, была обучена хорошо. Она знакома коротко с языком Гомера, Эврипида и Софокла. И что ж? Пусть этот разговор будет моей исповедью. Года два тому назад у нее сделались ужасные нервные припадки. Припадки эти доходили до безумия. Я повез ее в Константинополь. Там ее лечили. Во время приступов болезни она говорила целые отрывки из великих поэтов наших, декламировала, пела, говорила изящным языком. Из неприступных недр души поднялись забытые познания, фантазия парила, ум блистал. И вот ей стало опять лучше, и слова мои будут излишни, вы видели и поняли ее! Я помню, другой мой, как тогда, измученный заботами о болезни ее, испуганный мыслью, что мне суждено провести всю жизнь с умалишенной женщиной, я отвечал на вопросы моих товарищей по ремеслу. Господа! – сказал я им с отчаянием, – она на себя не похожа! Она вдруг стала умна и занимательна... Она говорит вещи, на которые я и во сне не считал ее способною! А

теперь вы видите ее? Судите сами и радуйтесь, что вы не женились!

Алкивиад возвратился к отцу и долго не решался обнаружить новую перемену, которая произошла в его взглядах после поездки в Эпир. Он больше рассказывал, чем рассуждал.

Иногда чуть заметно слышалось в нем против воли доброе чувство к единой державе...

Лукавый старик Аспреас видел это и не трогал его.

Прошло еще около месяца, вдруг разнеслась весть об ужасном для всей Греции событии при Марафонском поле. Все были поражены. Англия грозила... Со всех сторон греки слышали насмешки, клеветы и проклятия своей конституции, своим государственным людям, которых хотели сделать ответственными за всех Астрапидесов, быть может, живущих на западные же деньги...

Алкивиад, в первую минуту, с испугом спрашивал себя: что может ожидать от Европы несчастная Эллада?..

Отец его был спокоен и улыбался все тою же улыбкой веры и веселости. «Не одна Ан-

глия на свете!» – говорил он.

И Алкивиад в эту минуту почувствовал, как сходила и на него горячая отцовская вера...

С тех пор и он часто повторяет про себя его слова: «Греко-Российской церкви мы поклоняемся, человече!...»

И ему опять стала (как и в детстве, но с большею ясностью и силой) представляться прежняя картина европейского Востока... Опять он стал думать, что как бы ни были сложны вопросы, как бы ни было пышно дерево исторического развития этого европейского Востока, куда бы ни крылись его корни, куда бы ни простирались его ветви – и корни эти, и ветви, все скрыто в одном этом слове: «Греко-Российской церкви мы поклоняемся, человече!»

Алкивиад и теперь говорит нередко: «Бедный отец!», как говорил тогда, когда мыслил умом сестры и Астрапидеса. Но тогда бедный отец! у него значило иное... А теперь оно значит: Бедный отец! как ты был прав, и как я ошибался!..

Разница между ним и отцом теперь только

та, что он умереннее старика. Старик в турках даже и человеческих чувств не хотел признавать; Алкивиад же турок, как людей, часто хвалит; он говорит только, что гражданское примирение христиан с Турцией или военный союз Эллады с империей Ислама возможны лишь под влиянием России... Но и то на время!..

# Примечания

«Агафангел» – книжка, в которой собрано множество разных предсказаний о событиях европейской истории. Она очень распространена на Востоке.

[^^^]



## 2

Каир, Каирос – известный в Греции деист; он основал, после освобождения эллинов, школу, где проповедывал чистый деизм. Стечение учеников было большое, и греческое правительство принуждено было закрыть ее.

[^^^]

# 3

Жолуди кормят народ в том смысле, что ими торгуют для дубления кож и других целей.

[^^^]

# 4

Дэли – лицо действительное. Недавно убит в  
Элладе войсками.

[^^^]

## 5

Капуджи-баши – звание почетное, вроде камергера Это звание дается богатым грекам, евреям, болгарам и т д. за какие-нибудь заслуги государству, люди эти, однако, не состоят при дворе, а продолжают заниматься своими делами в провинциях.

[^^^]

## 6

Морé – звательный падеж от *морос* – глупый. Это не всегда брань на Востоке, а просто фамильярное и даже иногда ласковое воззвание, как бы у нас: *дурочка* или *глупенькая!*

[^^^]

Кефир – гяур.

[^^^]

# 8

Записать в дьявольский список, в список дьявола – иметь человека на худом счету.

[^^^]

Словесники (логибтате) и чернильщики (ка-ламарадес) – названия, которые дают часто в насмешку простые греки своим учителям, адвокатам, газетчикам и т. п.

[^^^]



# 10

Эльчи, эльчи-бей – посланник.

[^^^]

Поклониться – положить оружие, попросить прощения, сдаться.

[^^^]

# 12

Дерева поестъ – отведасть палок, побоев по-  
пробовать.

[^^^]

Кетиб (по-турецки) писец.

[^^^]

Меймур, меймурлик (по-турецки) чиновник,  
чиновничество.

[^^^]

Бандитами зовут иногда в Эпире бедных горожан-ремесленников, потому что они вообще очень бойки, смелы и охотно берутся за нож. Архонты не любят их и боятся.

[^^^]

Слово *осёл* считается непристойным.

[^^^]

Целиос – албанец, мусульманский вождь иррегулярного войска, известный своими подвигами против греков во время войны за независимость.

[^^^]



Ламия – вроде ведьмы.

[^^^]

Цици – ласкательное от Василиям; Чево – от Прасковьи или Параскевы.

[^^^]

Хамал – носильщик, грубый человек.

[^^^]

Чифтлик – истинное значение этого турецкого слова относится преимущественно к тем большим имениям беев и купцов, на которых живут, не имея своей земли, крестьяне и платят за пользование известный процент владельцу. Иногда же так называют всякое загородное имение.

[^^^]

Прунари – особый род дуба.

[^^^]

Четыре раза перегнанный – употребляется у греков в смысле лихой, прошедший через огонь и воду.

[^^^]

Ходжа-баши – турецкое название архонта; сильный человек, богатый из христиан, представитель христианский

[^^^]

Джелеп (по-турецки) либо сборщик податей со стад, либо поставщик баранов.

[^^^]



Калдырим-чилибей – слово в слово: уличный барин, гранитель мостовой, побродяга.

[^^^]

Айда́ – поди́, марш.

[^^^]

Ханджи – хозяин хана, постоянного двора.

[^^^]

Вот тебе хлеб мой! – обыкновенная у иных греков божба.

[^^^]

Бре (вре) – вроде морэ, только грубее.

[^^^]